

Бич Божий

Евгений Иванович Замятин

В своем историческом романе «Бич Божий» Евгений Замятин ярко, увлекательно описывает приключения юного Атиллы (V век), будущего легендарного предводителя гуннов и великого завоевателя, прозванного Бичем Божиим. Уже в детские годы, как Вы узнаете из книги, проявился его крутой нрав, несокрушимая воля и призвание властвовать.

Мальчишкой оказавшись в Риме в качестве заложника, он вырвется из унижительного плена с твердых решением когда-нибудь вернуться сюда, но уже не одному, а с бесчисленным войском

Евгений Замятин

БИЧ БОЖИЙ

Беспокойство было всюду в Европе, оно было в самом воздухе, им дышали.

Все ждали войны, восстаний, катастроф. Никто не хотел вкладывать денег в новые предприятия. Фабрики закрывались. Толпы безработных шли по улицам и требовали хлеба. Хлеб становился все дороже, а деньги с каждым днем падали в цене. Вечное, бессмертное золото вдруг стало больным, люди потеряли в него веру. Это было последнее, ничего прочного в жизни больше не осталось.

Прочной перестала быть самая земля под ногами. Она была как женщина, которая уже чувствует, что ее распухший живот скоро изрыгнет в мир новые существа — и она в страхе мечется, ее бросает в холод и жар.

Была зима, когда птицы замерзали на лету и со стуком падали на крыши, на мостовую. Потом настало такое лето, что деревья цвели три раза, а люди умирали от лихорадочного жара земли. В июльский день, когда земля лежала с черными, пересохшими, растрескавшимися губами, по ее телу прошла судорога. Земля выла круглым, огромным голосом. Птицы с криком носились над деревьями и боялись на них сесть. Молча падали на дали стены, церкви, дома. Люди бежали из городов как животные и стадами жили под открытым небом. Время исчезло. Никто не мог сказать, сколько часов или дней это длилось.

Вся покрытая холодным потом, земля наконец затихла. Все бросились в церкви. Сквозь трещины в сводах зияло раскаленное небо. Пламя свечей пригибалось от человеческих испарений, от тяжести выбрасываемых вслух человеческих грехов. Бледные священники кричали с амвонов, что через три дня мир разлетится в куски, как положенный на уголья каштан.

Этот срок прошел. Земля по временам еще чуть-чуть вздрагивала, но она уцелела. Люди вернулись в дома и начали жить. По ночам они знали, что все прежнее кончилось, что теперь жизнь надо мерить месяцами, днями. И они жили бегом, коротко, задыхаясь, спеша. Как богач перед смертью торопится все раздать, так женщины, не жалея, раздавали себя направо и налево. Но они теперь не хотели больше рожать детей, груди им стали не нужны, они пили лекарства, чтобы стать безгрудыми.

И как женщины — незасеянными, бесплодными оставались поля. Деревни пустели, а города переливались через край, в городах не хватало домов. Было нечем дышать в театрах и в цирках, не замолкала музыка, огни не потухали всю ночь, красные искры сверкали в шелку, в золоте, в драгоценностях — и в глазах.

Эти глаза были теперь всюду. Лица были желтые, мертвые, и только как уголья горели глаза. Они жгли. Они тройными кострами обкладывали подъезды театров, церквей, богатых домов. Они молча смотрели на выходящих. Всем запомнилась одна женщина: она держала на руках завернутого в лохмотья ребенка с почерневшим лицом, она считала его за живого, она его баюкала. Мимо нее бежали, зажимая носы надушенными платками, бежали скорее жить, чтобы до конца еще успеть истратить свое золото, тело, душу. Пили вино, прижимали губы к губам, кричали музыкантам: «Громче!» — чтобы не думать, не слышать...

Но однажды услышали: земля снова завывала. Она, как роженица, судорожно напрягла черное чрево, и оттуда хлынули воды. Море с ревом бросилось на столицу и тотчас же опрокинулось назад, унося дома, деревья, людей. Когда рассвело, головы еще виднелись в розовой пене, затем пропали. Взошло солнце. На крыше дома боком лежала барка, ее дно было зеленое от водорослей, они свисали как женские волосы, с них текли ручьи. Огромные серебряные рыбы, сверкая, бились на мостовой. Голодные толпы с криками хватили их, убивали о камни и уносили, чтобы есть.

Все ждали новой волны — и скоро она пришла. Как и в первый раз, она поднялась на востоке и покатила на запад, сметая все на пути. Но теперь это было уже не море, а люди.

О них знали, что они живут совсем по-другому, чем все здесь, в Европе, что у них зимою все белое от снега, что они ходят в шубах из овчины, что они убивают у себя на улицах волков — и сами как

волки. Оторвавшись от Балтийских берегов, от Дуная, от Днепра, от своих степей, они катились вниз — на юг, на запад — все быстрее, как огромный камень с горы.

От каменного топота тысяч лошадей земля глухо выла, как во время землетрясения. Была ранняя весна, в итальянских долинах деревья стояли круглые и белые от цветов, листьев еще не было. Конники скакали, сбрасывая с себя овчины и смешивая свой запах с дыханием миндального цвета. Их вел Радагост, названный так по имени бога руссов. Одно ухо у него было отрублено, и потому он никогда не снимал волчьей шапки. Римляне бежали от него не оглядываясь, у римских солдат уже давно кубки были тяжелее их мечей.

Но золото в Риме еще было, золотом была куплена помощь Улда, князя хунов, которых многие называли также скифами. Улд и его хуны стали на пути Радагоста. В полдень Улд приехал к римлянам, держа на копье бородатую голову в волчьей шапке. Шапка с нее свалилась, и все увидели, что одно ухо у ней отрублено. Улд услышал, как римляне били в свои щиты и кричали ему навстречу. Слова были чужие, он разобрал только свое имя. Но и оно у римлян стало мягким, как мясо, сваренное для стариков в воде, — «Ульд! Ульд!» Ему стало смешно, он кашлял от смеха, так что голова с его копья упала в белую пыль. Ее подняли и положили в винный мех, наполненный уксусом, чтобы сохранить ее и показать римлянам в день триумфального шествия Улда.

Этот день был назначен сенатом на 12 апреля. Год от Рождества Христова был 405-й.

Черная апрельская ночь. Закутанный в ночь Рим не был виден, его многоэтажные громады обозначались только вырезанными во мраке красными отверстиями окон. Дома вздрагивали, посуда звенела. По каменным мостовым всю ночь гроыхали военные повозки, тысяченого топали императорские гвардейцы. Рим готовился. Никто не знал, чем кончится завтрашний день, когда город будет наводнен полчищами хунов Улда и буйной чернью столицы. Перед вечером, как обычно, пролетариям выдавали хлеб, они стояли длинной очередью. Хлеба на всех не хватило. Толпа зажгла городские пекарни, одна из них догорала за мостом. На красном небе зубцы замка св. Ангела были угольно-черные.

Когда вошло солнце, человеческие потоки с окраин хлынули в центр. Узкие улицы нещадно сжимали пахнущую лохмотьями и потом толпу, вверху между семиэтажных домов была синяя трещина вместо неба. Люди задыхались, лица у них багровели. Они текли, кричали, рты были раскрыты, но крика не было слышно. Они текли, они заливали все, как лава. Чья-то голова на длинной гусиной шее вертелась над толпой во все стороны. В подъезде на ступенях египетский

монах с бритым черепом встряхивал голубые мешочки. «Небесное лекарство — пыль с могилы святого Симеона — наилучшее небесное слабительное!» В толпе старуха закричала: «Продавай это тем, кто обожрался!» В монаха попал камень, он исчез. От старухи пахло вином, у нее было расстегнуто платье, виднелись высохшие длинные груди. Она стала проклинать монахов, апостола Петра, Юпитера, святую Деву. В толпе вертелась голова на гусиной шее. Люди текли. Откуда-то со дна вынырнула грязная рука, на ней сидел розовый попугай, он пронзительно крикнул: «Граждане, я — ветеран!» Попугая держал на руке солдат с прислушивающимся, поднятым вверх лицом, глаз у него не было, они были выжжены на войне. Ему стали бросать деньги в корзину. Старуха проклинала императорских солдат, она вспомнила о самом императоре, о его сестре: эта курва Плацидия со своим братом...

Внезапно она замолчала, обернулась. Человек с гусиной шеей схватил ее за плечо и сказал: «Ты пойдешь со мной». Уже совсем недалеко внизу был виден мост, в открытых воротах замка св. Ангела — солдаты префектуры. Улица шла вниз, под ногами были ступени, все спотыкались, но упасть никто не мог: шли так тесно, что каждый чувствовал плечи, локти, дыхание соседей. Человек с гусиной шеей раскрыл рот, чтобы крикнуть, — и не успел. Его длинная шея согнулась, голова повисла: сзади в него воткнули нож. Он не мог упасть, он медленно шел мертвый в толпе, голова у него моталась как у пьяного, кругом смеялись. Он упал только тогда, когда толпа перешла мост и разлилась по площади. Вдали, на форуме, трижды пропели трубы: там уже началось.

Пять солнц сверкали в конце форума — пять корабельных грудей, обшитых медью. Они плыли высоко над толпой, вделанные в мрамор ораторской трибуны. Там стояла сотня людей, женщин и мужчин, это были избранные. Дул ветер, им было холодно, на них снизу смотрели глаза. Кругом холодные колонны густо росли вверх, будто тяжелое синее небо грозило рухнуть и Рим хотел его подпереть. В мраморе чернели трещины от недавнего землетрясения, несколько колонн уже упало и упало несколько статуй. На пустых пьедесталах, цепляясь друг за друга, сидели теперь люди в лохмотьях, им было сверху лучше видно.

На помост под трибуной взошел человек с каменной, сизой от бритья челюстью. По этой челюсти все сразу узнали его, это был префект. Он говорил, выбрасывая в толпу слова, как камни из пращи. «Его вечность император...» — «Громче!» — «Его вечность император Гонорий болен лихорадкой, он отбыл в Равенну. Вместе с врачами заботы о больном разделяет его сестра, божественная августа Плацидия...» Внизу пробежал шепот, смешки. Префект перечислил императорские милости, он объявил, что сегодня рукою консула будет освобождено пятьдесят рабов — в честь триумфатора Улда.

Это имя упало на толпу как ветер: «Ульд! Ульд!» Белые ладони всплескивали над головами, ничего не было слышно, кроме этого имени: «Ульд». В конце живой улицы, огороженной императорскими гвардейцами, шли певчие в фиолетовых одеждах, они, должно быть, пели, рты у них были беззвучно раскрыты, как на картине. Фиолетовый епископ, благословляя, поднял руку, на перстне у него блеснул камень. За ним шел консул и римские власти. Ветер бросил им пыль

прямо в глаза, толпа навстречу им бросила варварское имя: «Ульд! Ульд!» — они нагибали головы.

Вдруг все стихло. В тишине было слышно, как фыркает от пыли лошадь, но ее никто не видел, все смотрели вверх: там, покачиваясь, плыла голова, поднятая на копье. Одно ухо у нее было отрублено, на опущенных веках сидели мухи, ветер трепал рыжую бороду. Оскалив зубы, голова улыбалась римлянам, по спинам у них бежал холодок. Потом как стадо гнали пленных. У них были такие же бороды, черные, рыжие, и такие же оскаленные белые зубы.

Обгоняя шествие, к пленным подъехал конник. Это был тоже варвар. На нем были широкие кожаные штаны. Его лошадь фыркала от пыли розовыми ноздрями. Он нагнулся с коня и что-то сказал пленным, они засмеялись. Он проехал мимо них вперед.

На громяющих двуколках везли неприятельское оружие, по ветру летели варварские знамена из конских хвостов. И наконец, сзади трофеев, заблестела золотом триумфальная колесница, запряженная четверкой белых коней. Все жадно вытягивались, поднимались на носки, чтобы увидеть его.

Но золоченая колесница была пуста. Толпа растерянно молчала. Никто не понимал, что это значит. На помосте, ожидая триумфатора, стоял римский консул, видно было его высохшее, темное лицо и волосы, зимне-белые. Внизу кто-то крикнул: «Обманули!» Толпа загудела, шпалеры гвардейцев зашатались. В ту же минуту консул спустился по красным ступеням помоста и протянул руку, в руке был венок из лавров. Варвар в кожаных штанах нагнулся с коня и взял венок. Тогда все поняли, что это и был триумфатор Улд. Это имя опять взлетело над форумом, весь форум закипел, ладони плескали: «У-ульд! У-ульд! У-ульд!»

Он теперь стоял уже на помосте и смеялся, ему было смешно мягкое «Ульд». На нем была шапка из белой кожи, он не снял ее, венок он держал в руке. Консул отошел от варвара в сторону, потому что от него пахло кожей, потом. Горбун-переводчик с синей дворцовой перевязью через плечо бегал от консула к Улду, он показал Улду на выстроившуюся перед помостом длинную шеренгу рабов. Улд ничего не говорил, он кивнул горбуну и взял лавровый венок под мышку, чтобы почесаться. Над головой у него на ораторской трибуне засмеялись. Он оглянулся, зрачки у него были узкие, кошачьи.

Префект, двигая сизой челюстью и заглядывая в список, стал по одному выкликать освобожденных рабов. Первым поднялся на помост молодой раб, еще почти мальчик, кожа на лице у него была по-девичьи белая. Консул, исполняя обычай, поднял коричневую сухую руку и ударил его по щеке. Раб стал свободным, в глазах у него темнело, он, спотыкаясь, бежал вниз. На

его белой коже были видны красные пятна от удара. «Сюда, сюда!» — кричали ему из толпы. Он кинулся в толпу, закрыв глаза, все еще не веря. К консулу уже подходил следующий.

Этот был широкоплечий, высокий, но он шел согнувшись, как будто нес на плечах тяжесть. Слева на черной голове у него было похожее на серебряную монету пятно седых волос. Он так дрожал, что его голые коленки стучались одна о другую. Консул заметил это, он удивленно посмотрел на раба. Налетел ветер и завернул перекинутый через локоть край консульского плаща. Консул поправил плащ, потом поднял руку, чтобы ударить раба по щеке.

Внезапно раб стал на голову выше консула: он выпрямился и схватил консула за руку. Так они стояли секунду, как вырезанные из мрамора. Толпа замерла. Консул отдернул свою руку, будто обломив ее. Два солдата схватили раба. Он громко закричал, внизу подхватили, толпа качнулась и, прорвав цепь гвардейцев, хлынула к триумфальному помосту, к ораторской трибуне. Это были два маленьких острова, было ясно, что они сейчас будут затоплены.

К краю помоста подошел Улд. Он положил два пальца в рот и длинно, пронзительно свистнул. Толпа дрогнула как взбесившийся конь от удара бича и остановилась. Улд снял с себя белую шапку и надел на голову лавровый венок. Толпа захлопала, нестройно, неуверенно. Громче всех, забыв о приличиях, хлопала публика на ораторской трибуне, женщины оттуда бросали Улду цветы. Консул торопливо кончил церемонию освобождения рабов.

По красным ступеням помоста поднимались теперь десятка два мальчиков, все были светловолосые, только один был темный. Улду уже все надоело, его разморило солнцем, он сонно взглянул на мальчиков. Но тотчас же его глаза открылись шире, он весь повернулся к ним. Не отрывая от них глаз, он спросил что-то у горбуна-переводчика. Переводчик ответил, что это сыновья франкских и бургундских князей, они присланы отцами в Рим как заложники. Улд молча показал рукою на одного из них. Переводчик взглянул на Улда умными собачьими глазами, какие всегда бывают у горбунов, и вытащил за руку мальчика с темной головой. На нем была белая рубашка, вышитая золотом, и широкие, завязанные у щиколоток штаны. Он стоял, нагнув голову, как будто на ней были рога. «Да, он из твоей страны, — сказал переводчик Улду, — это сын хунского князя Мудьюга». — «Мудьюга? Я хорошо помню, у него было два сына. Как зовут этого?» — «Его зовут Атилла», — ответил горбун.

Улд подошел к мальчику и сказал ему что-то на своем языке. Атилла молчал, нагнув голову. Улд взял его за подбородок и поднял вверх его лицо. Мальчик как будто начал улыбаться, потом вдруг быстрым, как прыжок, движением, вонзил зубы в руку триумфатора. От неожиданности или боли Улд громко вскрикнул и отскочил назад, из руки у него капала кровь, он зажал руку своей белой шапкой. Потом, не оглядываясь, быстро сошел с помоста, вскочил на коня и, пригнувшись, поскакал через форум.

Тишина была такая, что было слышно, как копыта его коня падали на камень. И только когда он исчез, толпа опомнилась, все разом заговорили, все спрашивали друг друга:

«Что это значит? Что это за звереныш? Почему он вдруг укусил его?» Никто не знал.

2

Из степей прибежали суслики. Их было множество, они были жирные, их жарили на огне и ели. Потом люди, один за другим, стали пухнуть, чернеть, умирать. Тогда Мудьюг понял, что надо бросить все и уйти отсюда, чтобы не умереть всем.

Это был уже конец зимы, снег не скрипел больше, от лошадей шел пар. Они прошли к реке, которой имя было Атил, ее называли также Ра, и еще позже — Волга. Было близко утро. Заря висела на небе клочьями, как куски сырого мяса, красными каплями падала на снег. Жена Мудьюга закричала так, что все остановились. Ее положили на войлок, на снегу она раздвинула ноги, ее распухший живот сотрясали судороги. Плечи у ребенка были такие широкие, что он, выходя, разорвал у матери все, и она умерла. По имени реки отец назвал его Атилла.

Они шли дальше, и шли всю весну так, чтобы солнце садилось у них перед глазами, а вставало сзади них. Когда Мудьюг видел дым, он приказывал сворачивать в сторону, он не хотел биться с людьми, потому что у него люди и лошади были усталые. Они остановились опять перед большой рекой, на ней были камни, белая вода с шумом била в них. Ночью на другом берегу небо стало распухшим и красным от огня, оно приподнималось и опускалось, собаки выли. К Мудьюгу привели двух людей, бороды у них были спалены огнем, они переплыли оттуда. Они сказали, что эту реку у них зовут Напр, а у римлян — Борисфен и что готы к утру возьмут их город. Тогда хуны с шумом, как река, хлынули на другой берег и смыли готов, Мудьюг остался здесь князем.



Город был похож на череп. На макушке желтой и лысой горы как венец лежал дубовый тын, торчали рубленные из дерева башни. Под желтым лбом темнели пещеры, они оставались от древних насельников, о которых никто ничего не знал. В одной пещере была теперь кузница, вечером она мигала красным глазом. Весь торг и жилье были на подоле, под горой, у самой воды. Огромная желтая плешь внутри города была пуста, там стояло только пять жилых срубов, в одном жил Мудьюг, в других его ближние кметы. Временами город внезапно наполнялся людьми, он гудел, как улей. Это значило, что окрест в лесах кричат готы, приложив губы к щитам, или авары подползают, пересвистываясь, как тысяча птиц.

На остриях левой стены, по вечерам, солнце торчало, как отрубленная голова, потом падало вниз. Вдоль всей стены стоял высокий, темный дом, на бревнах были вырезаны люди, звери и птицы. Обшитые медью ворота, открываясь, сверкали, из них выводили белого коня. Атилла долго не знал, что там внутри. Он учился стоять, хватаясь за ноги стреноженных лошадей, теплой и круглой была грудь женщины, теплым был щенок, вместе с которым он спал. Холодным был брат, Бледа. Он был выше Атиллы, он холодными руками толкал его сзади, Атилла ударялся коленями и подбородком об пол. Он знал, что если лежать, то больше этого не будет. Но он всегда поднимался и снова падал, чувствуя на шее холодные руки.

В черной стене был белый четырехугольный глаз. Атилла стоял на скамье и смотрел наружу, в него вливалось желтое, зеленое, синее. Рядом с его лицом было другое. Вдруг оно задрожало, Атилла почувствовал это пальцами, он почувствовал также капли на щеке, они были теплые. Неизвестно отчего, его пальцы тоже стали дрожать, он водил ими по лицу. У женщины были большие, влажные и теплые губы, она прижималась губами, становилось тепло внутри.

Это была Куна, жена Мудьюга. Оба, и Атилла, и Бледа, были не ее дети, но в тот день Атилла перестал для нее быть чужим. Свеон Адолб неслышно подошел сзади, взял мальчика под мышки и, смеясь, сказал: «Стыдно уж тебе быть с женщинами, пойдем со мной».

У Адолба был только один глаз, и оттого он был как будто меньше других, он был как будто в том же мире, что и Атилла. Он дал Атилле стрелы и лук. Мальчик напряженно смотрел, как, впиваясь в стену, стрела долго дрожала. От камня стрелы прыгали вбок, щенок, лая, кидался за ними. Его черные уши болтались, он был весь теплый, желтый, от него пахло молоком. Атилла пустил в него стрелу — и попал. Щенок скакнул вверх, потом смешно повалился на бок, бок у него стал красным. «Хорошо», — сказал Адолб. Атилла, сев на корточки, напряженно смотрел. Щенок дергался, потом перестал, глаза у него были закрыты. Атилла толкнул его рукой, он хотел, чтобы щенок опять прыгал, но его щенок лежал, как камень. Атилла встал: «Что это?» — спросил он Адолба. «Ничего, издох, вот и все». Маленький, четырехугольный, нагнув лоб, думал Атилла, он не понимал, но ему стало холодно. «Тебе холодно?» — сказал он Адолбу. «Почему — холодно? Что ты!» — засмеялся Адолб. Атилла бросил лук наземь и побежал по ступеням вверх. Дома он лег у окна на лавку и с открытыми глазами лежал до вечера. На другой день он обо всем забыл.

Утром, выйдя, он увидел, что ворота в том большом доме уже не блестят, потому что они открыты. Было еще рано, розовые капли висели на листьях. Из открытых ворот выбежал старик, у него было белое меховое лицо и белая рубаха, в руке зеленый веник. Он с шумом жадно втянул в себя воздух и опять вбежал внутрь. Внутри было пусто, темно, высоко, солнце косым ножом разрезало темноту. Потом глаза привыкли, Атилла увидел в глубине четыре красных столба и сквозь наполовину отдернутую занавесь огромные колени и ступни. Старик, согнувшись, мел около них пол, маленький, как муравей. Левой рукой он зажимал себе нос и рот, чтобы своим дыханием не осквернить это место. Потом он выскочил наружу и снова стал дышать. Атилла стоял у входа, прижавшись к воротам щекой, он чувствовал холодную от росы медь. «Уходи, уходи отсюда скорей!» — закричал на него старик.

Днем все шумело людьми. Когда Адолб, держа за руку Атиллу, вел его по ступеням, под ногами у них шуршали колосья. Они вошли в открытые медные ворота, там всюду были люди, это было так же, как в реке, когда Атилла, купаясь, входил в нее и вода обнимала его со всех сторон. Все нагнули головы и зажали себе рукой дыханье. Адолб поднял Атиллу на плечо, он увидел, как медленно разошлась вправо и влево завеса на столбах. Там стоял огромный, выше Адолба, выше всех, человек с двумя головами, глаза у него блестели, ласточки метались над ним с писком. «Кто это?» — громко спросил Атилла. «Ш-ш-ш... молчи!» В это время занавесь закрылась, все задышало с шумом. «Это бог», — сказал Адолб. Атилла подумал и спросил: «А ты?» Адолб его не понял.

Потом все раздвинулись. В проходе шли и пели девушки, они были круглые, внутри становилось тепло. Они тащили за собой на веревке огромный хлеб. Сверху Атилле было видно, как утренний старик спрятался за этим хлебом и громко спросил: «Видите вы меня?» — «Нет, не видим!» — весело закричали все. «Пусть и в будущее лето хлеб закроет меня», — закричал старик. «Я хочу есть», — сказал Атилла, и Адолб унес его.

Снаружи, за окном, весь вечер пели, Атилла слышал быстрый тяжелый топот, девушки, шутя или умирая, завизжали. Из окна пахло горячим хлебом, телом, землей. Дверь скрипнула, Атилла увидел белую, круглую руку, Адолб встал. Он подошел к Атилле, единственный его глаз горел. Он задернул мальчика занавеской. «Я бог», — вспомнив, сказал Атилла. «Спи, спи сейчас же!» И Атилла закрыл глаза.

Он увидел, что все — внизу, а он стоит огромный и у него две головы... Потом все шумно задышало, от этого стало жарко. Атилла поднялся, откинул занавеску. Показалось, что в том углу, где вчера спал Адолб, было сейчас две головы и там шептались. «Адолб!» — хотел позвать Атилла, но не сделал этого, почему, — он сам не знал. Ему было жарко. Он сбросил с себя все и лег голый. Месяц упал на стену, бревно стало белое и круглое, как рука.

Кони ржали и стучали копытами о дощатый помост. Мудьюг вынул из-за пояса плеть с золотой рукоятью и поднял ее. Он уехал на большую охоту, чтобы привезти лосей, медведей. С ним пошли

все, это было как война. Город стоял пустой, были только одни женщины; Адолб и старики остались, чтобы оберечь их. По целым дням в тишине шумел дождь. Потом земля, деревья, небо — все стало как из молока, это был снег. Под окном черная птица сидела на дереве, легкие капли молока летели мимо нее, она не шевелилась. Было слышно, как из огня падают на пол угли. Атилла кидал их в окно, чтобы спугнуть птицу, но она не улетала. Вошел Адолб весь белый. Он сказал, что странник просит пищи и огня. Куна кивнула: «Пусть он войдет».

Когда странник поел, он сел ближе к огню, от его одежды пошел пар и запах мокрой шерсти. Он не шевелился, как птица, и у него был такой же загнутый острый нос. «Откуда ты?» — спросила Куна. «Я? — Он подумал. — Я с севера, от моря, где родится янтарь. Я везу янтарь в Константинополь, там римляне дают за фунт янтаря фунт золота... Ты знаешь, что такое золото?» Он взял Атиллу за щеку, его руки царапали, как ветка от дерева. «Я знаю», — сказал Бледа и раскрыл свой большой рот.

За окном на дереве все еще сидела птица, как будто чего-то дожидаясь. Падал снег. Странник рассказывал о Константинополе, где столько золота, что от блеска его люди слепнут, и рассказывал о народах, которые живут на востоке и на севере. Около Рифейских гор есть люди, плешивые от рождения, они питаются плодами, каждый живет под деревом и на зиму окутывает его белым войлоком. Еще выше на север лежит земля Югра, там люди на вид так ужасны, что их никто никогда не видит: они ночью кладут на снег шкуры голубых лисиц и уходят, а купцы, придя, кладут около свой товар и, взяв шкуры, бегут не оглядываясь. А около моря сидят лютичи, у них город Радагост треугольный, лютее их никого нет в бою, они живут без князя.

Из огня упал на пол черный уголек. Странник поднял его и раздавил пальцами. «И еще вагры на острове Фембра, и руяне на острове Руя, где город Аркана на черной скале. Корабли у них — то же, что кони у вас, и их все боятся». — «И тебя тоже?» — спросил Атилла. Человек засмеялся и прикрыл рукою лицо, рука у него была в угле, на щеке остались черные пятна. Он поклонился Куне и сказал, что пойдет спать. Окно было завешено ночью, дерево стояло теперь синее, птицы на нем уже не было.

Они еще долго, одни, сидели у огня. Большой рот у Бле-ды был раскрыт. Атилла стоял, нагнув лоб, и думал, почему есть люди, которых никто не видел. Вдруг он почувствовал что-то, оглянулся, и ему показалось, что в окне мелькнуло лицо и щека с черными угольными пятнами. «Смотри, смотри! — он схватил Куну за платье. — Это он!» — «Кто?» — Куна вздрогнула. В окне никого не было, там была ночь... «Поди, вели, чтобы Адолб не спал», — сказала она женщине, которая положила себе на полу войлок.

Атилла натянул на себя мех, ему стало тепло, потом жарко, он бежал все быстрее. Стены шли треугольником, никакого выхода, никаких ворот нигде не было. Он кинулся и изо всех сил застучал в стену, так что стало больно руке.

Руку ему изо всех сил стиснула Куна, она нагнулась над ним вся белая и говорила: «Скорей, скорей!» Он увидел Адолба, Адолб стоял у окна на скамье, пригнув голову к левому плечу и изо всех сил натянув лук, за ногу ему уцепился Бледа и что-то кричал. Адолб отпихнул его ногой. «Скорей, скорей!» — говорила Куна, плоская глиняная лампа в руке у нее тряслась, огонь, дымя, ложился, в дверь били чем-то тяжелым. Широкая доска на полу была поднята, из дыры несло холодом и чернотой. Куна бросила туда Атиллу, чьи-то руки подхватили его, доска захлопнулась. Он ничего не видел, он только слышал, как рядом с ним колотится чье-то сердце. Большие, теплые губы, дрожа, нашли его лицо, он понял, что это Куна. Над самой головой у них застучали ноги, мягко рухнуло об пол, шурша, посыпалась сухая пыль, стало очень тихо.

Он опустил руку и почувствовал зерна, изо всех сил сжал их, они прошли между пальцев.

Тишина была только минуту, потом на дворе закричали: «Арчь! Арчь!» — ночь снаружи обросла голосами, шумом, железом.

Сердце билось в лохматой, волчьей темноте, зерна шуршали меж пальцев. Опять сверху посыпалась пыль, над головой у них ходили. Они услышали, закутанный в темноту, далекий голос.

— Это он! — и Куна опять больно сжала руку Атилле. В нем быстро возникло и исчезло лицо с черными от угля пятнами.

— Это он, он! — Куна вскочила, Атилла тоже встал, ноги у него по колено ушли в зерно. Тотчас же доску над головой подняли, ворвался свет, громкий, красный. Атилла зажмурил глаза, он понял: сейчас конец.

Но Куна засмеялась, ее смех был мягкий и теплый, как шерсть. Тогда Атилла открыл глаза.

Это был Мудьюг, отец. Он обхватил Куну вокруг тела, рукой сжимал ее грудь, и Куна смеялась. Потом он взял Атиллу за щеку, как всегда делал утром, но сейчас как будто вспомнил что-то и толкнул его от себя, так что мальчик упал в зерно. Он поднялся и смотрел, ничего не понимая.

За поясом у отца блестела золотая ручка от плети. Он ударил Атиллу глазами и сказал: — «Иди наверх». Атилла увидел, что у него стал красным старый белый шрам на лбу.

Наверху было уже утро, крепкое, румяное, как яблоко; дерево за окном было розовое и белое. Куна тихонько тронула Атиллу и сказала ему: «На, ешь». Он взял яблоко, оно было холодное в руке, он не стал его есть. Бледа стал рядом, спиной к окну. «Возьми, вытри», — и Мудьюг протянул Бледе свой меч. Атилле захотелось кинуться, отнять, но он только сильнее сжал яблоко, оно было холодное, от него холод шел по всему телу. Он чувствовал на себе, как железо, глаза Мудьюга.

Вошел Адолб. У него на ногах был снег, он постучал ими об пол и подошел к Мудьюгу. «Я нашел их следы, они на лодках бегут вниз по реке, еще можно догнать их». — «Сейчас», — сказал Мудьюг. Он больно схватил за плечо Атиллу и повернул его к себе. «Ты спрятался вместе с женщинами, ты трус!» Атилла не знал этого слова, но он все же понял, он сказал: «Нет!» — «Это я, это я его спрятала!» — крикнула Куна. «Молчи! Почему он не остался наверху, как Бледа?» Атилла на мгновение увидел, как Бледа хватал тогда за ноги Адолба и как Адолб отпихнул его, он хотел сказать об этом, но не сказал. Он стоял, нагнув лоб, на лбу жестокие вихры торчали как рога. «Когда я вернусь, я тебя выпорю. Слышишь?» Все стало тяжелое, яблоко было как камень, оно выпало из рук Атиллы и покатилося. Куна вышла вместе с Адолбом и Мудьюгом. Атилла остался вдвоем с Бледой.

Исподлобья, не поднимая головы, Атилла увидел, как у Бледы ползли длинные, тонкие губы. «Трус», — шепотом сказал Бледа. Атилла почувствовал, как снизу, от живота, горячо хлынуло вверх, стиснуло горло. Ему показалось, что его руки схватили за горло Бледу, но этого не было, он только поднял голову и посмотрел Бледе глазами в глаза. Бледа сказал: «Что ты, что ты!» — у него затряслись губы, он прижался к стене и стоял так. Атилла, не тронув его, вышел.

Он взял горсть снега и съел, потом приложил снег к щекам. Куна, проходя мимо, остановилась, но ничего не сказала. Атилла понял, что она ничего не может, что он один. Солнце поднялось вверх, медные ворота, сверкая, открылись, и из них вышел старик — он вел за собой белого коня. Атилла увидел себя на этом коне, он скачет по лесу, пригибаясь от ветвей: если это сделать, пока не вернулся отец... Он подбежал, ухватил коня за белую гриву, конь покосился розовыми глазами. «Не трогай! — крикнул старик. — Это конь бога!» Атилла вспомнил огромные тяжелые ступни и колени: бог был больше и страшнее, чем отец. «А он может...» — начал Атилла, но не мог говорить дальше. У старика были красные, тяжелые веки, он поднял их и сказал: «Он может все. Пойди туда и сильно подумай о том, что тебе нужно».

Атилла вошел внутрь. Огромные, закопченные стены покрыли его, занавесь чуть дышала на красных столбах. По спине у него пошел холод, он широко открыл глаза, он почувствовал, что весь выходит через них. «Я хочу, чтоб этого не было!» — шепотом сказал он, потом стоял и ждал. Все было тихо, конь, снаружи, храпел.

Мудьюг вернулся, когда только начали есть. От него пахло свежим снегом, лицо от холода было красным, шрам на лбу — белый как тропинка. «Мы их догнали, только один ушел», — сказал он, взял нож и разрезал мясо. Все ели молча. Атилла не мог есть, его сердце, перепрыгивая через куски мяса, несло вперед. Перед глазами у него было окно, белое дерево блестело, медных ворот отсюда не было видно, но Атилла знал, что они есть, что они сверкают. Когда женщины унесли кувшины и блюда, Куна под столом тихонько погладила руку Атилле, и он понял, что это будет сейчас. «Я хочу, чтоб этого не было, не было!» — изо всех сил подумал он, глядя в окно, весь выходя через глаза.

Но это все-таки было. Отец приказал ему повернуться лицом к стене. Атилла сказал: «Нет!» Тогда отец схватил его за шею и пальцами приковал к стене, как железом. Атилла стоял стиснув зубы, ему показалось, что щеки его стали твердыми, как дерево. Потом он почувствовал, что его голые ноги дрожат, он сжал себя всего и перестал дрожать, он ни разу не крикнул. Когда все кончилось, он обернулся, посмотрел на отца зубами и выбежал наружу.

Там был снег голубой, мягкий, на нем оставались следы. Белое дерево стояло под окном, солнце на синем блестело. Но он только видел это глазами, это уже не было в нем, как прежде, он был один, отдельно от всех, у него были огромные ступни и колени, он слышал, как где-то, очень высоко, зубы его стучат.

Медные ворота были открыты, он вошел внутрь медленными шагами. Солнце низко светило сзади него, тень его легла длинная до самой занавеси и загнулась вверх. Он подошел и отдернул занавесь. Ласточки, свистя крыльями, как плети, закружились вверху двух огромных голов. На почерневших, деревянных щеках Атиллы увидел белые следы от птичьего кала. Это было хорошо, Атилла улыбнулся. Он посмотрел вверх, на бога, так же, как смотрел на отца, его глаза были оскалены, как зубы. Потом он увидел на полу золото, золотые чаши, лук, посередине и по краям обделанный белой костью. Он поднял лук, поставил его на землю, наступил на один конец ногой и наложил стрелу. Тетива была туга, руки у него были еще детские, он не мог натянуть ее.

Он вернулся домой только тогда, когда все уже стало черным и синим. Он знал, что он сейчас сделает. До ночи он ходил по лесу, вдали пели волки, он понимал их пенье. У дверей дома он увидел человека в меховой рубашке, высоко над ним, отдельно, блестело синим острие копья, еще выше острые звезды. «Что ты тут бродишь ночью? Все давно спят», — сонно сказал он Атилле и открыл ему дверь.

Атилла услышал, как Адолб в своем углу зашевелился, потом снова начал храпеть, тогда Атилла пошел дальше. Он шел, пригнувшись, различая в темноте запахи спящих, слушая всем телом. Без ошибки, как будто было совсем светло, он схватил рукою нож, который всегда видел возле Адолба на стене. Адолб опять перестал храпеть, Атиллу, подняв плечи, весь заострившись, стоял и ждал.

Когда по темной лестнице он поднялся в верхний сруб и осторожно приотворил дверь, на стену слева упала красная полоса, внутри горел свет. Он услышал свое частое дыхание, замер, впившись пальцами в холодное железное кольцо от двери. Потом сейчас же понял этими пальцами и всем телом, что уйти все равно не может, и вошел внутрь.

Плоская, глиняная лампа стояла на столе. Красный, похожий на копье, огонь качнулся, остановился. Отец и Куна спали рядом, было жарко натоплено, меховое покрывало было сбито к стене. Голая рука отца лежала на груди Куны, его лицо было прикрыто рукою: у Куны одна нога была согнута в колене, Атилла увидел в красном сумраке белизну ее тела. Атилла смотрел, внутри него все шумело, как река, которая несется через пороги. В него вошло нечто новое, чего он до сих пор не знал. Это длилось только одно тонкое, как волос, мгновение, но этого было довольно, чтобы Мудьюг проснулся, потому что его тело даже во сне всегда чувствовало сталь. Он успел отодвинуться, и нож Атиллы только слегка, боком, скользнул по ребру. Притянув к себе за руку Атиллу, Мудьюг долго смотрел на его крутой лоб, на упрямые, как рога, вихры. Понемногу брови у Мудьюга разошлись, шрам опять стал белый, он улыбнулся. «Так. Это хорошо, — сказал он и отдал Атилле нож. — Теперь иди спать». Мудьюг говорил тихо, Куна спала, Атилла опять посмотрел на нее. «Подожди, — сказал Мудьюг. Он подумал. — Я должен послать заложника в Рим. Ты поедешь туда завтра же, и с тобой поедет Адолб».

Когда, спустившись с лестницы, Атилла проходил через сени, он в темноте наткнулся на что-то. Рукою он узнал кадучку с медом, она всегда стояла здесь. Еще вчера вечером он тайком брал отсюда мед, но сейчас ему показалось, что с тех пор прошли целые годы. Это кончилось и больше не будет никогда.

В эту ночь Атилла видел отца в последний раз. На другой день, когда Атилла еще спал, Мудьюг призвал к себе Адолба и говорил с ним, потом снова уехал на охоту. Вечером он гнался по лесу за кабаном, было уже плохо видно. Мудьюг привстал в седле, чтобы метнуть в кабана копье, и на всем скаку ударился лбом о дубовый сук. Все засмеялись. Мудьюг тоже засмеялся — и умер. Вместо него сел править брат его, Ругила.

Атилла и Адолб в это время были уже далеко от дома.

Круглые, как медведи, горы лежали и молчали. Потом они как будто встали на дыбы, из-под копыт у коней сыпались камни, маленькие и большие. Через день горы стали зелеными, снег исчез, везде были листья и цветы. Это не могло быть, Атилла знал, что дома еще зима, но все-таки это было, это он видел глазами. Люди здесь жили в домах из камня, лица у всех были голые, одинаково у мужчин и женщин, они говорили, как птицы, но Адолб умел говорить с ними и смеяться. Атилла молча пожирал их глазами, как мясо ртом.

Они ехали, почти не останавливаясь. Как Адолб, как все, Атилла умел спать, положив голову на шею коня. Ночи и дни падали, как дождь, сначала были крупные отдельные капли, потом они слились, все стало сплошным. Плечи Атиллы болели как от тяжести, он был полон до краев. Когда однажды ночью они въехали в город и Адолб сказал: «Это Рим», Атилла только кивнул, в него уже ничего более не могло войти. Он упал на постель, раздавленный сном, он спал как камень всю ночь, днем проснулся, только чтобы проглотить что-то, и снова спал до утра. Его разбудил шум, чужой, огромный, железный, каменный, все дрожало.

Они вышли. Было еще рано, земля была мокрая. Но это была не земля, это был камень, гладкий, как черный лед. Кони Адолба и Атиллы боялись идти по нем, они храпели, косили глазами, и Атилла смотрел на все искоса, углом глаза, как его конь. Улица шла вниз, лошади, скользя, садились на задние ноги.

Их обогнали носилки, занавеси были подняты, Атилла увидел внутри человека с голым, бледным лицом — он лежал. И еще другие носилки, там лежал огромный, распухший, как тесто, человек, громко дыша. Потом носилок стало много, занавеси были красные, синие с золотом и желтые, там тоже лежали люди. Атилла спросил Адолба: «Они не ходят — они все больные?» Адолб посмотрел на него одним глазом и подумал, потом сказал: «Они — богатые». Но Атилла видел их лица, он знал, что они больные. Он сжал ногами коня, он почувствовал, что у него ноги крепкие, ему стало весело. Он ударил свою лошадь, она поднялась на дыбы, люди внизу, пригибаясь, бросились в стороны. Адолб крикнул ему: «Тише! Ты забыл, где ты?» Они поехали тихо. На них смотрели. Атилла увидел слепого, который нес розовую птицу, птица что-то кричала человеческим голосом, но Атилла не удивился, как он ничему не удивлялся во сне.

Они слезли с лошадей, перед ними были золотые ворота. Золото ослепительно блестело; Атилла зажмурился, Адолб толкнул его: «Да смотри же, ты! Это — дворец, здесь император». Сердце у Атиллы понеслось, он знал, что император — это как его отец, как Мудьюг, такой же большой и



сильный. Он вспомнил, как отец взял его тогда за шею и приковал к стене, как железом. И, как тогда, он стиснул зубы, он почувствовал, что щеки у него стали твердыми и сердце пошло ровно, как лошадь.

Он открыл глаза. Перед золотыми воротами тесно, как стадо, стояли люди с голыми, как у женщин, лицами и с голыми ногами, без штанов. Одежда была у всех одинаковая, белая с красными полосами внизу, и Атилле показалось, что у всех одинаковые, как их одежда, лица. «Сенаторы», — шепнул ему Адолб. Это слово было пустое, как орех, в который можно свистеть, внутри этого слова для Атиллы ничего не было. «Хун! Хун!» — услышал он их голоса и понял, что это про Адолба и про него, все показывали пальцами на их кожаные штаны и смеялись. Однажды дома на двор к ним пришел старик сверху, из лесов, он привел на цепи медведя, медведь плясал на снегу, все смотрели, мальчишки снизу тыкали в медведя палками. Вот так же было теперь. Атилла оскалил на сенаторов зубы, нагнул голову, как бык. Адолб схватил его сзади за плечо, Атилла крикнул: «Пусти!» — но Адолб держал крепко, он повернул Атиллу лицом к воротам, и Атилла забыл о медведе.

Ворота теперь были открыты, там стояли большие золотые солдаты, на солнце блестели их мечи. Один стоял впереди, у него было жирное лицо старухи и под его одеждой, как спрятанный круглый хлеб, выпирал живот. Он отрывал от кисти синие ягоды и ел их. Сенаторы подходили к нему поодиночке, они все одинаково улыбались. Атилла вспомнил, как улыбались собаки отца, когда он бросал им мясо. Солдат со старушечьим лицом ощупывал поверх одежды каждого из подходивших, они стояли перед ним, подняв руки. Атилла посмотрел на Адолба, спрашивая его глазами. «Он ищет, нет ли у них оружия, — ответил Адолб, — чтобы они не могли с оружием прийти к императору». — «Он боится? Он не может бояться», — сказал Атилла. Адолб прищурил свой глаз: «Я не знаю. Но у них делают так».

Солдат начал ощупывать Адолба, лицо у Адолба стало красное. Атилле стало жарко, он услышал, как у него задрожали плечи и руки, он крикнул Адолбу: «Я не дамся, я ударю его ножом!» Адолб что-то сказал солдату. Сморщенные старушечьи губы сплюнули от синей ягоды, потом какое-то слово. Он вынул из-за пазухи кисть ягод, дал Атилле и толкнул его вперед. Атилла, все еще дрожа, пошел рядом с Адолбом, Адолб вытирал пот со лба, Атилла бросил ягоды на пестрые, блестящие камни и наступил ногой, так что брызнул сок, похожий на кровь.

Они вошли в комнату. Но это не была комната, это было, как дом бога с двумя головами, где старик мел зеленым веником пол и где однажды девушки тащили на веревке огромный хлеб. Это все было далеко позади, из всего прежнего сюда пришел только Адолб, это было последнее, и Атилла крепко держал его руку. Нагнув голову набок, одним глазом, как смотрят птицы, Адолб смотрел на потолок. Там были золотые звезды, и люди с крыльями, и какой-то голубой дым.

Атилле было трудно дышать, он посмотрел: сзади, на низком столбе из розового камня, стояла чаша, оттуда шел дым. Атилла расширил ноздри и вдохнул, это не пахло ни огнем, ни зверем, ни людьми, это было не настоящее, противное. Он нагнулся и плюнул в чашу, чтобы потушить то, что там горело. Адолб больно дернул его руку и испуганно покосился: не видел ли кто? К ним уже бежал маленький горбун с синей перевязью через плечо. Он заговорил с Адолбом по-римски. Атилла смотрел. Руки у горбуна были длинные, белые, как корни. Вдруг он повернул лицо к Атилле и сказал ему обыкновенными, понятными словами: «Так ты сын Мудьюга? Император будет доволен, он сейчас выйдет». Он пошел, но тотчас же вернулся и сказал Атилле: «Ты не бойся». Он положил на плечо Атилле свои длинные белые пальцы. Атилла стряхнул их. «Я не боюсь!» Нагнув голову, он смотрел на горбуна, они были одинакового роста, глаза у горбуна были теплые. Он улыбнулся и хотел говорить еще, но за высокими дверями из другой комнаты послышался шум, сенаторы встали.

Атилла ждал — ушами, глазами, как на охоте, когда под его рукою была туго натянутая тетива. Ему показалось, что за дверью крикнул петух, это не могло быть, он сделал свое ухо острым и после этого уже ничего не услышал, кроме человеческих голосов. Двери открылись.

Вошел огромный в золотом панцире человек, в голой руке он держал меч, рука была налита силой, он был на голову выше Мудьюга. За ним шел какой-то небольшой человек, потом тот солдат со старушечьим лицом и еще много людей. Атилла, не отрываясь, смотрел на великана с мечом, это был он, он! «Это — он?» — потянул он за руку Адолба, но Адолб не ответил, он тоже смотрел. Сердце у Атиллы мчалось.

Император, держа меч, поднялся на ступени, теперь он стал еще выше. Там стояло кресло, на нем сверкали маленькие солнца, как в росе утром. На кресло сел небольшой человек в красной одежде. «Вот он, император Гонорий, он на троне, он сел, видишь?» — шепнул Адолб. Атилла смотрел, не веря. У этого человека было белое, сонное лицо и маленький кривой рот, сдвинутый влево, от этого казалось, будто что-то болит. Человек в золоте, с мечом, огромный, как бог, стал позади трона. Тогда Атилла поверил, что тот, другой, который сидел, был император.

Белые сенаторы поднимались к трону, согнув голову. Император обнимал и целовал каждого из них и что-то говорил каждому, не глядя, сонно. Солдат со старушечьим лицом стоял сбоку, прислонившись круглым животом к трону. Сенаторы, проходя, улыбались ему. Потом внизу перед тронном стал юноша, по лицу у него катился пот, большие красные руки дрожали. Он стал говорить императору нараспев, в нос, он говорил один, все молчали. Адолб сказал Атилле: «Он читает стихи». Атилла не понял. Тогда Адолб сказал: «Он хвалит императора, он говорит, что император — самый мудрый и самый сильный из всех людей». Атилле показалось, что Адолб смеется над ним, он хотел рассердиться, но не успел.

Двери из соседней комнаты снова открылись, оттуда вышел старик. Он был высокий, строгий, с серебряными волосами, все на него смотрели. У него в руках был большой белый петух с толстым красным гребнем, сзади гребня была подвязана маленькая золотая корона. Нагнув голову вбок, петух сердито глядел желтым глазом и, не переставая, кричал: «Ко-о! Ко-о! Ко-о!»

Император как будто только теперь проснулся, он быстро встал с трона и взял на руки птицу. Его маленький рот, улыбаясь, еще больше сдвинулся влево, он целовал петуха сзади короны и теплым голосом говорил ему: «Рим, мой маленький Рим, ты хочешь кушать, да?» — и петух отвечал императору: «Ко-о! Ко-о!» Поэт, который хвалил императора, торопливо сунул большую красную руку к себе за пазуху и потом подставил ее петуху, на ладони были зерна. Петух, склонив голову набок, взглянул желтым глазом и стал клевать зерна. Сенаторы, толкаясь, тоже протягивали ладони, у одних были зерна, у других куски мяса. Петух, жадно глотая мясо, дергал шеей, его красный гребень и золотая корона вздрагивали. Было тихо, как в доме бога. Золото блестело. Из чаш на розовых столбах шел голубой дым. Атилла смотрел на петуха, на императора, на протянутые ладони. У него вдруг затрясся живот, как бывало раньше, когда Куна шутя щекотала его, и он громко засмеялся.

Все сразу повернулись к нему, лица у всех были испуганные. Император смотрел на Атиллу, глаза у него были большие и холодные, как вода. Атилла сделал свою шею железной, он выдержал эти глаза. Император отвернулся и, кривя рот, сказал что-то горбуну. Горбун подбежал к Атилле и взял его за руку: «Иди! Иди отсюда скорей!» Через узенькую дверь он втащил его в длинный коридор. Адолб шел за ними. Со стен смотрели головы людей пустыми глазами, у них были ямы вместо глаз. Здесь пахло хорошо, это был запах кожи, тут стояли кожаные красные сундуки возле стен.

Горбун, запыхавшись, сел на сундук, и Атилла сел рядом с ним. Адолб нагнулся, его единственный глаз был желтый и злой. «Как у петуха!» — сказал Атилла и опять, вспомнив, стал смеяться. «Дурак! Молчи! — Адолб стиснул его плечо. — Если ты так будешь и дальше...» — «Мне хочется смеяться», — сказал Атилла. «Нельзя! — голос у Адолба был злой. — Здесь нельзя, это — не дома». Горбун посмотрел на Атиллу теплыми, как шерсть, глазами. «Здесь нужно лгать, мальчик», — сказал он. «Что это — лгать?» — спросил Атилла. Горбун обернулся к Адолбу: «Объясни ему ты». Адолб сказал: «Ты помнишь — мы ходили на лисицу? Ты помнишь — мы смотрели ее следы?» Атилла увидел гладкий голубой снег и на нем — чуть посинев — следы лисьих пальцев, следы были вывернутые, лисица бежала, пятясь задом. «Она пятилась, чтобы обмануть собак, — продолжал Адолб. — Здесь кругом тебя собаки, помни это». Атилла кивнул молча, теперь он понял.

Горбун встал и пошел, качая длинными белыми руками. Он привел Атиллу и Адолба в комнату с большим окном, на окне были прозрачные, красные, желтые, синие звери и люди, но через окно ничего нельзя было увидеть, и стены были из больших камней. «Ты будешь жить здесь», — сказал горбун. Адолб молчал, он стоял, отвернувшись, постукивал согнутым пальцем в стену, толстые камни глотали стук. Потом горбун снова повел их, и они вошли в другую комнату, там не было окон, были только стены, но было светло, солнце падало сверху. Здесь были мальчики и юноши,

их было десять или немного больше. Атилла не мог сразу взять их всех в себя, он только запомнил, что все были одеты по-римски, а на одном были черные штаны. Они все говорили вслух и теперь сразу замолкли.

К Атилле подошел человек в запачканной белой одежде, его желтая лысина блестела, все лицо шевелилось и будто ползло на Атиллу. «Это Басс, учитель», — сказал Атилле горбун, потом Атилла услышал чужие римские слова и среди них имя своего отца, Мудьюга, и свое имя. Все столпились вокруг него и ощупывали, трогали его глазами.

Он увидел, что Адолб уходит вместе с горбуном. Он хотел крикнуть: «Адолб, не уходи!» — но он запретил себе. Они ушли. Атилла остался один. Кругом были чужие стены и люди. Нагнув голову с двумя торчащими, как рога, вихрами, он стоял и ждал. Басс положил ему на плечо руку, Атилла сделал движение плечом, чтобы рука ушла, но она осталась.

4

Каменная река Рим ревел неумолимо всю ночь, и от этого сон был непрочный. Утром зазвонили в церкви. Ослик под окном мелко просыпал копыта по камню, потом закричал так, как будто вспоминал, что загублена вся его жизнь. И от этого отчаянного вопля Приск проснулся.

Он несколько мгновений растерянно, близоруко смотрел, не понимая, где он. Кто-то дышал рядом. Не поворачивая головы, только скосив глаза, Приск увидел голое плечо, маленькие груди, накрашенные соски смотрели в стороны, как раскосые глаза... Приск сразу вспомнил все. Он покраснел так, что кровь загудела у него в ушах. За этим ли он ехал из Константинополя в Рим? Что сказал бы Евзапий, если бы узнал об этом?

В Константинополе все профессора считали Приска тупицей и лентяем. Этот толстый, неуклюжий юноша думал на лекциях неизвестно о чем, отвечал невпопад, над ним потешались. Так было,

пока однажды он не услышал историка Евзапия. Евзапий говорил не об атомах, не о законах стихосложения, не о модной философии Платона, но о том самом, о чем мучился Приск. В конце лекции Евзапий открыл книгу и прочитал оттуда: «Постыдимся хотя бы зверей. У зверей все общее: и земля, и источники, и пастбища, и горы, и леса. А человек делается свирепее зверя, говоря эти холодные слова: „То твое, а это мое“». На другой день по приказу Константинопольского префекта Евзапий был арестован. Евзапий, улыбаясь, показал префекту книгу, тот увидел, что преступные слова принадлежат святому Иоанну Златоусту. На первой лекции Евзапия после его выхода из тюрьмы студенты неистовствовали, своими рукоплесканиями они долго мешали ему начать.

После лекции Приск пошел за Евзапием к нему домой и говорил с ним, пока не стало совсем темно. Утром он написал отцу, что больше не хочет брать у него денег, и с тех пор жил перепиской книг. Он стал любимым учеником историка. Через три года Евзапий умер, завещав ему сделать то, что не успел сделать сам: написать книгу об этих великих и страшных годах, быть может последних, когда, шатаясь, еще стоят обе империи — Византийская и Римская. Он оставил Приску немного денег, чтобы тот мог поехать и увидеть Рим. Приск ехал туда в полной уверенности, что будет смотреть на все глазами врача, который исследует больного. И вот, вместо этого, на другой же день после приезда он проснулся в постели у этой женщины!

Это была первая женщина в его жизни. Он не знал, кто она, не знал даже ее имени. Она была еще почти девочка, ей не было больше семнадцати лет. Но эта девочка ночью учила его таким вещам, что он сейчас стыдился своего тела, рук, рта. Под окном опять отчаянно закричал ослик. Приск решил уйти сейчас же, пока она еще спит. Но сколько оставить ей денег? Это были деньги Евзапия... Кровь зашумела у Приска в ушах. Он увидел седую голову учителя, его бедную одежду, чернильные пятна на ней. Странно, но это было так: не будь этих чернильных пятен, Приск наверное не оказался бы здесь.

В день приезда Приск сразу же, с утра, пошел в публичную библиотеку на Трояновой площади. Он наслаждался самым запахом, видом книг, скрипом перьев. Он опомнился только тогда, когда сторож подошел и сказал, что читальный зал закрывается. На улице было уже темно. Приск вспомнил, что у него есть рекомендательное письмо к профессору логики Бассу. Он еще весь был полон книгами, идти ему туда не хотелось, но он решил, что надо.

Басса он застал запирающим дверь своего дома и обрадовался, что можно уйти. Но Басс сказал, что не отпустит его: они должны поужинать вместе у «Трех Моряков», это теперь самое модное место в Риме. Приск смутился, стал отказываться: он недостаточно хорошо одет, чтобы идти туда. Басс засмеялся. Приск увидел его небрежную, запачканную чернилами одежду, точь-в-точь как у Евзапия. Ему сразу стало хорошо с этим человеком, он сказал: «Если так — я согласен». — «Что „если так“?» — переспросил Басс. Приск не мог объяснить, он покраснел. Басс с любопытством смотрел на этот девичий румянец, он предвкушал на сегодняшний вечер редкое удовольствие.

Они спустились на мост. Внизу в черном зеркале лежал опрокинутый Рим: многоглазые с красными освещенными окнами дома, белые и круглые от цветов дерева, темные дворцы. Все покачивалось, непрочное, каждую минуту готовое исчезнуть без следа. Приск заговорил о том, зачем он приехал сюда, он с жаром стал рассказывать о своей будущей книге — и вдруг остановился, почти испуганный тем, что он увидел на лице Басса. Это не была улыбка, его губы были неподвижны, но множество, десятки улыбок шевелились всюду на этом лице. Приглядевшись, Приск понял, что это было просто движение его бесчисленных морщин. «Мы пришли», — сказал Басс. Он откинул красную занавеску, освещенную изнутри, и толкнул Приска вперед.

Приск остановился на пороге, он не верил глазам. Он приготовился увидеть ту самую римскую роскошь, о которой ему столько говорил Евзипий, о которой он читал у Ювенала, Сенеки, Плиния, Аристида. Вместо этого перед ним был подвал с закопченным потолком, задыхающиеся в чаду лампы, грязные деревянные столы, какие-то разбойничьи рожи, отрепья. У самого входа сидел матрос с завязанным глазом. Рядом с ним на скамье, шатаясь, стояла пьяная девка. Она мутно взглянула на Приска. «А, сосунок! На, возьми!» — она быстро нагнулась и сунула в лицо Приску голую, остро пахнущую грудь. Приск отстранился. Женщина потеряла равновесие и упала, ему пришлось поддержать ее. Она повисла на нем, он не мог от нее освободиться, она крепко обнимала его тело голыми ногами, скрестив их у него за спиной. Кругом хохотали. Матрос ударил девку, она отпустила Приска и снова влезла на скамью. Приск растерянно огляделся кругом, ища глазами Басса.

Теперь он был сбит с толку еще больше: среди бродяг, матросов, проституток он увидел за столами богато одетых людей, блеснули перстни на тонких женских пальцах. К матросу с завязанным глазом подошла женщина в черном, без всяких украшений платье, у ней был только тяжелый золотой обруч на шее. Матрос посадил ее к себе на колени, обхватил ее шею рукой и медленно стал сжимать. Женщина забилась, захрипела, Приск не выдержал и, сжав кулак, шагнул к матросу, но почувствовал: сзади его схватили за руки. Это был Басс. «Не мешай, она это любит», — спокойно сказал он. «Любит?» — «Да. Это дает ей аппетит для игры в постели». Приск начал медленно краснеть. Морщины на лице Басса зашевелились, поползли, подкрадываясь, — и вдруг он огорошил Приска вопросом: «Скажи, сколько женщин было в твоей жизни?» Приск молчал. «Ни одной?» Приск покраснел до того, что у него выступили слезы. Ему было стыдно сказать правду и стыдно было своего стыда, он ненавидел сейчас этого улыбающегося римлянина, его ласковый голос, его прищуренные глаза.

«Басс! Басс!» Кругом хлопали, кричали, что Басс должен произнести речь. «О чем же?» — спросил Басс. В своей чаше с вином он увидел жирную зеленую муху, вынул ее и сказал: «Хотите об этой мухе?» Все захохотали. «Вы смеетесь напрасно: эта муха достойна уважения не менее, чем я — или чем вы, дорогие мои слушатели...»

Это была его обычная манера: он мог взять любой попавшийся ему на глаза предмет и логикой извлечь оттуда самые неожиданные выводы. Он мгновенно сделал из мухи совершеннейшее из божьих творений. Разве от мухи не рождаются черви, мудростью творца предназначенные для истребления падали? Разве сам он, Басс, и все присутствующие — это не великолепные, жирные черви, пожирающие останки Рима? Он не щадил никого, черви корчились от его беспощадных похвал, но они должны были смеяться, они смеялись.

Приск забыл, что минуту назад он ненавидел Басса. Сейчас он наслаждался игрой его морщин, его голосом, он любил чернильные пятна на его одежде, этот человек другими словами говорил то же, что когда-то говорил Евзапий.

Неожиданно Приск услышал свое имя: каким-то необъяснимым поворотом логики Басс от мухи перешел к Приску. Играя десятками улыбок, он предложил выпить за успех своего молодого друга, который привез прекрасным римлянкам редкостный дар. Он сделал паузу. «Какой? Какой дар?» — закричали кругом. «Свою невинность», — ответил Басс.

Рукоплескания, возгласы, смех оглушили Приска. Он вскочил, чтобы бежать отсюда, но уже был окружен, перед ним была ограда из любопытных женских глаз, раскрытых губ, улыбок. Чьи-то надушенные руки влили ему в рот вина, его обожгло, он проглотил. Пятясь, он отступал куда-то, пока не наткнулся на барьер: это была маленькая ложа, отделенная от подвала занавесками. Занавески чуть раздвинулись, мелькнули раскосые глаза и тотчас же исчезли. Приск увидел бегущую по барьеру крысу. Женщины испуганно кричали, поднимали платья. Крыса спрыгнула на пол, кинулась в какую-то раскрытую дверь в глубине подвала — и туда же стремглав выбежал за нею Приск.

Он очутился на дне узкого каменного колодца, в черном квадрате вверху близоруко, растерянно мигали звезды. Это был грязный дворик, пахло помоями, мочой. В углу цвело дерево, Приск удивился, когда сквозь вонь до него дошел нежный, сладкий запах. Он обошел двор кругом, он хотел выйти отсюда так, чтобы не возвращаться в подвал. Рядом с той дверью, через которую он попал в этот дворик, Приск увидел темную, низкую арку. Приск нагнулся и пошел туда, ощупывая руками шершавые кирпичные стены.

Вдруг его рука наткнулась на что-то теплое и мягкое. «Ты хочешь выйти отсюда? Иди за мной». Она взяла его за руку и повела. От нее пахло сладкими духами и еще чем-то, похожим на запах птицы. Через несколько шагов она опять засмеялась в темноте: «Я была уверена, что ты пойдешь здесь».

Они вышли на улицу. У выхода ждали два раба, один поднял фонарь и осветил женщину. Приск увидел ту, которая его вывела. У нее были пушистые, чуть раскосые глаза. Сквозь тонкий шелк

платья смотрели в сторону острия широко раздвинутых, тоже как будто раскосых грудей. «Если хочешь, рабы отнесут и тебя», — предложила она, влезая на носилки. Приск хотел сказать «нет» — и сам удивился, когда услышал, что сказал «да». Осторожно, стараясь не коснуться ее, он лег рядом с ней в носилки. Деревянные жалюзи с треском упали.

Ремни носилок поскрипывали в такт шагам рабов. В темноте блестели ее зрачки, все было полно ее запахом. Должно быть, один из носильщиков споткнулся: носилки накренились. Чтоб удержаться, Приск уперся рукой — и сквозь шелк его ладонь обожгло нежное острие, он испуганно отдернул руку. Тотчас же он услышал, как его спутница часто, неровно задышала, как от быстрого бега. Приск понял это дыхание, сердце у него неистово заколотилось. Он почувствовал: к нему прижались теплые, круглые колени. Потом началось что-то похожее на неожиданное падение с горы, когда больно, весело и все равно, что будет внизу.

Приск осторожно, чтобы не разбудить ее, слез с постели. Кругом все было незнакомое, было несколько дверей. Он смутно помнил, как ночью она пошла в ванну и сказала ему, чтоб он шел за нею и смотрел. Он отыскал эту дверь, пустил в мраморный бассейн горячую и холодную воду и стал быстро мыться, весь, с ног до головы. Из спальни он услышал смех, это была она. Приск замер так, как стоял: с поднятыми руками, в них таз, полный воды. Он со страхом ждал, что сейчас она позовет его или войдет сюда, но ни того, ни другого не случилось. Тогда он быстро вылил на себя воду, почти не вытираясь, оделся и с забившимся сердцем открыл дверь в спальню.

Там никого не было, только пахло духами и еще чем-то, похожим на запах птицы. На мраморном столике, рядом с деньгами, оставленными Приском, лежало несколько золотых монет, это было вдесятеро больше того, что хотел заплатить ей Приск. Что это значит: что он оставил ей мало — или это была ее плата ему? Весь красный, зажав в руке золото, Приск выбежал из спальни, чтобы сейчас же отыскать женщину и отдать ей эти деньги. Он пробежал через небольшую приемную, дальше за дверью оказалась площадка и лестница вниз. На площадке было открыто окно, слышно было, как звонили в церкви напротив. У окна стояла маленькая седая старушка и молилась, у ее ног лежал веник. Приск подошел к ней: «Где твоя госпожа?» — «Это не моя госпожа. Молодая дама заплатила за комнату и ушла. Здесь гостиница». — «Куда ушла? Ты не знаешь, где она живет?» — «Нет, господин, не знаю». Старушка начала мести пол, Приск растерянно смотрел, как двигался веник. Но может быть, еще не поздно, может быть, удастся догнать ее на улице? Приск побежал по лестнице вниз.

Пронзительно, как птицы в ветер, кричали торговки. Цирюльники колотили в поднятые над головами медные тазы. Гремели по камням телеги, на них, бесстыдно раскинув ноги, лежали бычьи туши. Улица кружилась, неслась, человеческие лица мелькали, жили один миг, чтобы сейчас же утонуть навсегда. Той, которую искал Приск, нигде не было видно, она исчезла.



Внезапно грохот телег замолк. На передней кучер, оскалив зубы, стегал лошадь так, как будто хотел ее убить, но проехать все же не мог: впереди был затор, люди стояли плечом к плечу, один влез на ступеньки, что-то читал. Приск подошел.

К двери был прибит большой белый лист, это была только что вывешенная официальная газета. «Не все слышали, еще раз!» — закричали голоса. Человек с длинной, гусиной шеей начал читать снова. Никаких оснований для тревоги нет. Возле Орелиана крестьяне взбунтовались из-за налогов, но они окружены императорским войском. Завтра обычной выдачи хлеба не будет... Толпа глухо заворчала, но человек с гусиной шеей, читая, повысил голос: «Наш хлеб съедают иностранцы. По приказу префекта все иностранцы, кроме медиков и учителей, будут высланы из Рима...»

Толпа зашевелилась, захопала, закричала: «Правильно!», «Вон их!», «Они жрут наш хлеб!». Молодой курчавый еврей, обвешанный медными кувшинами, нырнул в переулочек, вся толпа с ревом бросилась за ним. Было слышно, как медные кувшины звякнули о камень. На ступеньках возле газеты было теперь пусто. Приск поднялся и прочитал в самом конце сообщение, что варвары под предводительством Радагоста вторглись в империю.

К полудню это знали все, но об этом говорили только молча, глазами, об этом старались забыть. Все было так, как будто ничего не случилось. Солнце, не оглядываясь, летело, сотни солнц сверкали в золоте, в камнях, ожерельях, браслетах у ювелиров на Виа Сакра. Тонкие, шелковые женщины останавливались перед витринами. Они вели на привязи маленьких собачьих уродов, это было в моде. На углах у меняльных контор нельзя было пройти, здесь была лихорадка, курс римских денег сегодня понизился, здесь покупали и продавали. Татуированный, голубоглазый островитянин из Британии медленно шел через толпу. Его окружили, замелькали поднятые кулаки. «Вон! Вон из Рима!» Он хладнокровно обвел кругом голубыми глазами и спокойно пошел — так, как будто перед ним никого не было. Толпа опешила, расступилась перед ним.

Приск бродил по городу весь день и жадно собирал все в себя, это были зерна, из которых вырастет его книга. Перед сумерками пошел теплый весенний дождь, на Марсовом поле сладко задышали белые от цветов деревья. Бесконечные галереи быстро заполнялись людьми, гуляющие спасались от дождя. Женщины смеялись, в тонких намокших платьях они были как раздетые. Приску почудилось, что он услышал запах знакомых духов. Наступая на ноги, он догнал женщину, заглянул ей в лицо. Это была не она, не та.

Разбрасывая лужи, по аллее Марсова поля скакал всадник. Он был весь в грязи, в крови, одна рука у него была забинтована. Это был солдат, оттуда, с полей, где сейчас, быть может, решалась судьба Рима. Из галереи все бросились к нему, под дождь. Он остановил лошадь и что-то говорил. Приск уже не слышал: ему пришло в голову, что он может узнать что-нибудь о своей незнакомке там, где они были вчера с Бассом, он побежал туда.

У «Трех Моряков» было еще пусто. У откинутой занавески на пороге сидела вчерашняя девка. Но она была совсем другая, она чинила одежду, она походила на чью-то жену или сестру. Она позвала матроса с завязанным глазом. Приск, краснея, спросил у него о той, которая вчера была в ложе. Матрос ничего о ней не знал. Тогда Приск медленно пошел домой.

Его комната была высоко. Поднимаясь, он машинально считал ступени, все время без слов думая о другом. Он загадал, что если будет больше двухсот, то... Ступеней было двести пять. Он сразу успокоился, ему показалось, что теперь все будет хорошо. Торопливо он зажег лампу и сел, чтобы записать все, что видел. Большая муха, жужжа, билась о потолок, и будто от этого Приск никак не мог найти нужные слова. Он решил начать с цифр, собранных вчера днем в библиотеке, и записал:

«В Риме живет до двух миллионов людей. Здесь 46 000 домов с наемными квартирами, 1790 дворцов, 850 бань, 1352 бассейна с фонтанами, 28 библиотек, 110 церквей, 2 цирка, 5 театров. В одном только амфитеатре Тита вмещается до 80 000 человек. И никто не мог назвать число статуй, иные считают, что их более 10 000, но мне показалось, что их в городе столько же, сколько живых людей. Многие статуи лежат разбитые в куски недавним землетрясением. Равным образом и многие живые люди...»

Жирная зеленая муха ползла по столу к лампе. Приск взглянул на нее и тотчас же увидел медленно шевелящиеся морщины на лице Басса, потом мелькнула крыса, в отверстии занавески — раскосые глаза, темный двор с деревом в углу, шершавые кирпичные стены. Пальцы Приска, отдельно от него, вспомнили то горячее и мягкое, на что он наткнулся, ощупывая кирпичи. Все цифры исчезли, он ничего больше не мог написать.

Он потушил лампу и высунулся в окно. Каменная река Рим шумел, не замолкая. В темноте стояли деревья, белые от цветов, они походили на женщин в ночной одежде. Сюда, в окно, доходило их сладкое дыхание, смешанное с нечистым запахом города.

Приск лег в постель, уверенный, что ему не удастся заснуть, но заснул сейчас же. Утром он встал свежий, новый, как будто выздоровевший от тяжелой болезни. Он пошел в публичную библиотеку и начал там работать, но во время работы ни на минуту не переставал думать о ней, сам этого не сознавая. Так бывает иногда в море: прохладная, прозрачная вода наверху, а под ней — другое, мутное и теплое течение, невидимое для глаза.

И вдруг это течение со дна поднялось вверх: неожиданно для себя самого Приск закрыл книгу с совершенно готовым решением — немедленно идти к Бассу, он один мог знать, кто о н а и где ее найти.

Приск долго стучал в дверь к Бассу, все сильнее, все нетерпеливей. У соседей открывались окна, оттуда смотрели с любопытством. Приск ушел, не достучавшись. Он несколько раз возвращался сюда в следующие дни, но никогда не заставал Басса дома. Однажды наконец дверь ему открыл глухой старик с красными, больными глазами. Старик с трудом понял, что нужно Приску, и сказал, что каждое утро Басса можно найти в императорском дворце, где он занимается с учениками.

5

Их было тринадцать: бургунд, вестгот, каледонец, бреон, франк, лонгобард, сакс, баювар, аллеман, бритт, иллириец, перс — и хун, сын Мудьюга, Атилла.

Они считались гостями императора. Дворцовые стены крепко обнимали их, так что они никуда не могли уйти. Сначала они чувствовали это, они вспоминали свои леса и степи, потом они видели это только во сне, а потом и самые их сны становились римскими. Тогда наступало счастье. Августейший хозяин был щедр к ним. Их учили лучшие учителя Рима. Они получали еду с императорской кухни. Они могли есть сколько угодно, они жирели. Горбун пускал для них в ход огромный водяной орган, и под музыку они переваривали пищу. На большом дворе был обозначенный красным песком круг, они могли скакать по этому кругу на лошадях. Они гуляли в императорском парке, там все стены были прикрыты розами. У входа большая удобная клетка, по ней, не переставая, взад и вперед, ходил волк.

Когда мимо его клетки шел Басс, волк, щеря зубы, кидался на прутья клетки, шерсть у него на шее вставала дыбом. Может быть, это было потому, что Басс часто появлялся не один, а вместе с Пикусом, своей обезьяной.

Басс любил обезьян. Он уверял, что мог бы сделать из них достойных римских граждан, если бы ему дали для этого достаточно времени и денег. Он доказывал, что Бальбурий Медиоланский ошибался, когда видел в обезьянах человеческое прошлое: напротив — это будущее человека.

Если Басс оставался во дворце обедать со своими питомцами, он сажал Пикуса по правую руку от себя и разговаривал с ним. Пикус умел все есть и умел пить вино. «Знаешь, Пикус, — говорил Басс, — чтобы иметь женщин, тебе не хватает только одного: денег». Ученики Басса смеялись и хлопали. Они были счастливее Пикуса: Басс сам выбирал для них женщин и сам оплачивал их из сумм, отпущенных ему на воспитание юных варваров.

Они обожали его, они хотели быть как он, но знали, что это невозможно: к нему, как к Богу, можно было стремиться, но достигнуть его было нельзя. И они боялись его, как Бога, хотя он никогда не наказывал никого из них. Если он бывал кем-нибудь недоволен, он за обедом начинал говорить о нем. Басс не говорил ничего дурного, напротив — он хвалил. Тонкая сеть морщин на его лице шевелилась едва заметно, но пойманный в эту сеть не знал куда деваться, кругом хохотали, он сидел красный, весь исхлестанный смехом, он запоминал это на всю жизнь.

Из всех тринадцати только двое ходили не в римской одежде, а в штанах, как варвары. Эти двое были лангобард Айстульф и хун Атилла. Айстульфу это было позволено, он должен был скоро умереть, он всегда дрожал в лихорадке. С Атиллой было иначе. Вечером перед обедом горбун принес ему римскую одежду и сказал: «Это тебе посылает император, ты будешь теперь носить это». Атилла стал смеяться, ему было смешно, он представил себе, что будет без штанов, как девка. Он пришел есть вместе со всеми, одетый как до сих пор, в своей белой рубашке и широких штанах, завязанных у щиколоток. Басс ничего не сказал, он только с любопытством посмотрел на Атиллу. Справа от Басса сидел Пикус, он тоненькими черными пальцами ловко вынимал кости из рыбы и ел ее.

Атилле было трудно есть. Пища была чужая, мягкая, надушенная, она отрыгивалась назад, но он глотал ее снова, пока она не оставалась внутри. Басс, нагнувшись, говорил с Пикусом, потом он стал говорить со всеми. Атилла тогда не знал еще римских слов, он не понимал. Но внезапно, не глядя, он почувствовал на себе глаза. Это было у него отцовское, от Мудьюга, который, не глядя, чувствовал всякое направленное на него острие. Все смотрели на Атиллу. Напротив него было курносое лицо толстого бритта Уффы. Его нос сморщился, он захохотал первый, а за ним все. Басс сказал еще что-то, и они уже не могли лежать за столом, они вскочили и смеялись, стоя или сидя, они сквозь слезы смотрели то на Пикуса, то на Атиллу. Тогда Атилла понял, что Басс говорил о нем, что все смеялись сейчас над ним.

Кровь с шумом наполнила его голову. Он забыл советы горбуна и Адолба о том, что здесь надо быть как лисица. Он выскочил из-за стола, его глаза были оскалены как зубы, он вцепился глазами в Басса и пригнулся, чтобы прыгнуть на него. Он не успел: все закричали, его схватили сразу десятки рук.

В тот день было тепло, обедали под большим платаном в парке. Атиллу потащили к выходу и здесь в углу, около волчьей клетки, били его, потому что он осмелился броситься на их божество.

Их было много, они были сильнее Атиллы, он лежал молча. Они испугались, что он молчит, перестали бить и ушли.

Стало тихо, Атилла слышал только: кто-то часто дышит около него. Он поднялся и увидел, что сквозь прутья клетки волк смотрит на него желтыми глазами, как будто молча говоря ему. Было так, как будто чья-то рука сжимала Атилле горло, ему нужно было, чтобы его коснулось сейчас теплое, каким в детстве была Куна. Он протянул руку через прутья и положил ее на теплую шею волка. Волк вздрогнул, но продолжал стоять, его глаза были крепко связаны с глазами Атиллы. «Я его убью», — сказал Атилла. Волк, не шевелясь, как будто все понимая, слушал.

С этого дня Атилла приносил волку мясо и говорил ему то, что ему нужно было сказать вслух и что он не мог держать запертым в себе. Больше ему не с кем было так говорить, он был один, Адолб уехал домой. Уезжая, он сказал Атилле: «Помни, что велел тебе отец: узнать у них все, что они знают». Атилла молча кивнул. Адолб как будто нечаянно тронул его лицо шершавой рукой и ушел.

Басс сказал горбуну-переводчику, чтобы он скорее научил маленького хуна римским словам. Для Атиллы эти слова были похожи на их еду: его уши отрывали эти слова, но он упрямо повторял их, пока они не оставались в нем, внутри. Скоро он знал их уже много, но они выходили из его рта жесткие, как дерево, они скрипели и скрежетали. Горбуну было смешно слушать, его пальцы, длинные и белые, как корни, шевелились на коленях, и он улыбался. Но улыбался он совсем иначе, чем Басс, глаза у него были теплые. Атилле захотелось говорить с ним. «Ты его любишь?» — спросил он у горбуна. «Кого?» — «Учителя, Басса», — сказал Атилла. Пальцы на коленях у горбуна задвигались быстрее, как будто убегая, и он ответил только: «Тебе следует любить его». Атилла понял, что горбун убегает, как лиса, он решил сделать то же и сказал: «Я его люблю». Горбун засмеялся: «Вот как, мальчик! Ты уже умеешь лгать?» Атилла увидел, что не умеет, ему было неприятно, как бывало раньше, когда Адолб учил его стрелять и он не попадал в цель. Это было то же самое, этому надо было учиться, как стрельбе.

Горбун занимался с Атиллой в библиотеке. Здесь были цветные окна, ковры, книги. Белые каменные головы смотрели опустошенными глазами. Рим почти не был слышен. Атилла опрокинул тишину, он ворвался запыхавшийся, крича: «Крыса! Крыса!» Император смертельно боялся крыс, если кто-нибудь во дворце видел крысу — за ней начиналась настоящая охота, пока ее не убивали. Горбун выскочил в коридор, Атилла показал ему место под красным кожаным сундуком, куда юркнула крыса. Со всех сторон сбегались люди. Атилла увидел толстого Уффу, баювара Гарицу Длинного и других, которые тогда били его в парке. Уффа, пыхтя, лежал на полу и заглядывал под сундук. Крысу так и не нашли. Ее не могли найти, потому что ее не было. Атилла выдумал ее. Горбун и все поверили, это было хорошо. В следующие дни он продолжал учиться этому.

Однажды во дворце было необычное движение. Люди шептались по углам. Атилла заметил, что когда он проходил по коридору, то все провожали его глазами, он не понимал, что это значит. Он встретил в коридоре Уффу, Гарицо Длинного и беловолосого Теодорика, сына вестготского короля. У Теодорика были нашиты на одежде христианские кресты, он был самый набожный из всех. Он показал другим глазами на Атиллу, и все трое стали на его пути. «Если они будут бить...» — подумал Атилла, но не успел кончить. Гарицо Длинный нагнулся к нему сверху, положил ему руку на плечо и сказал: «Отлично, отлично! Ты, кажется, уже начинаешь говорить. Если хочешь, я буду заниматься с тобой, когда уедет горбун». Гарицо гордился тем, что он умеет говорить чуть картавя, как римляне; он был надушен. Атилле хотелось сбросить его руку, ему был невыносим этот запах, но он уже умел многое, он не двинулся с места, он зубами улыбнулся Гарицо, Теодорику и Уффе. Но почему они так говорили с ним? Он не мог этого понять.

В библиотеке горбун сказал Атилле: «С завтрашнего дня ты начнешь заниматься у Басса и у других, ты у меня уже достаточно научился. Мне надо уехать». — «Куда?» — спросил Атилла. Пальцы на коленях у горбуна метались, дергались. Он вскочил и забегал по ковру, он говорил, может быть, не с Атиллой, а с самим собой — о том, что варварские конники уже несутся по итальянским долинам, они уже недалеко от Флоренции, и если что может теперь спасти Рим, то это только хуны... «Хуны?» — переспросил Атилла не веря. «Да, я еду к их князю Улду, — сказал горбун, — он куплен Римом, он и его войско». — «Нет!» — закричал Атилла, он повторял только одно слово, он забыл все другие. Горбун испуганно закрыл ему рот ладонью: «Не кричи, не кричи! Не надо, чтобы тебя слышали!»

Тогда Атилла понял, почему Гарицо и другие внезапно стали так ласковы с ним.

Это был тот тревожный день, когда все в Риме уже знали, что под Флоренцией начался бой. В этот день Приск пошел к Бассу в императорский дворец.

Басс был в библиотеке, он разговаривал с чернобородым врачом. В стороне, на краю огромного кожаного кресла, как зимний воробей, дрожал маленький лонгобард Айстульф, глаза у него тускло блестели. Врач тихо сказал Бассу, что мальчик проживет неделю, не больше. Басс похлопал Айстульфа по спине: «Веселей, мальчик! Тебе осталось ждать немного: доктор говорит, что через неделю твоя болезнь совсем кончится. Иди!» Доктор увел маленького варвара. Теперь Басс был свободен, он подошел к Приску и заговорил о том, о чем сегодня говорили все в городе: о приближающихся к Риму варварах.

Он, как всегда, шутил и улыбался. Казалось, непроницаемой сетью улыбок он был защищен от всего, он мог отшутиться от всех опасностей, страданий, может быть, даже от самой смерти. Он весело сказал Приску: «Итак, мой юный друг, может быть, через несколько дней и мы, вместе со всем Римом, будем навсегда исцелены от всех болезней, как этот маленький варвар? Ты должен быть доволен: для твоей книги — это находка, ты увидишь замечательный спектакль. Снова — хаос, снова — первый день творенья. Разница от Библии только в том, что скоты окажутся созданными в первый день, а человек — может быть, потом, если у бога истории найдется свободное время, а если нет...»

Не переставая говорить, он под руку вел Приска по длинному коридору. «Вот сейчас свернем за угол — я остановлю его и спрошу о ней», — решил Приск. Когда свернули за угол, он покраснел, набрал воздуха, чтобы говорить, — и не мог. Басс остановился у открытых дверей, крикнул ожидавшему на пороге беловолосому юноше: «Сейчас, Теодорик, сейчас», — и стал прощаться с Приском. У Приска на лбу выступил пот: «Если я сейчас не спрошу — конец, я уже никогда ее не найду...» Басс увидел его растерянные, что-то кричащие глаза. «У тебя ко мне какое-нибудь дело?» — «Да...» — пробормотал Приск, от стыда ненавидя и себя и Басса. «Тогда посиди на моих занятиях, когда я кончу — мы поговорим», — предложил Басс. Приск, сутулясь, пошел за ним. Он оставил дверь полуоткрытой. Беловолосый Теодорик хотел встать и закрыть ее, но не успел: Басс уже начал говорить.

Он медленно обвел глазами всех, как цепью связывая их взглядом. В углу он увидел Атиллу. Тонкая сеть на лице Басса зашевелилась. «Здравствуйте, мои юные римляне!» — громко сказал он. Он говорил так каждый день, надо было, чтобы эти варвары хорошо запомнили, что они — уже римляне. «Да здравствует Рим!» — закричали все. Атилла молчал, нагнув лоб с двумя торчащими вихрами, похожими на рога. Басс подошел к нему: «Почему ты один молчишь?» Атилла продолжал стоять все так же. «Ну, что же? Мы ждем ответа!» Все глаза были нацелены на Атиллу, он это чувствовал. «У меня болит язык», — сказал он; римские слова, выходя из его рта, скрипели и скрежетали. «Болит язык? Покажи, покажи-ка, может быть, это опасно!» Басс взял Атиллу за подбородок. Тогда Атилла сжал свой язык зубами, так что сам услышал, как во рту хрустнуло. Потом он высунул язык и показал его Бассу, по языку струилась кровь, все увидели это.

Атилла смотрел в глаза Бассу, они боролись глазами как копьями — и Басс отвернулся. Сердце у Атиллы полетело, широко размахивая крыльями, он понял, что он победил. Но это длилось только одно мгновение. Все лицо Басса зашевелилось, как клубок змей, и он сказал, уже обращаясь ко всем: «Жаль, жаль, что наш юный друг не может приветствовать Рим. Остается нам, римлянам, приветствовать его, как соотечественника хунов, которые теперь благородно сражаются за нас. И чтобы вы все знали, как Рим ценит благородство, я вам скажу, что за него заплачено тысяча пятьсот фунтов чистейшего, как это благородство, золота...»

Атилла задышал так громко, что все обернулись к нему. Уезжая, Адолб оставил Атилле свой нож, Атилла носил его на поясе под одеждой, и теперь ему казалось, что нож толкает его. Этого никто не знал, но все почувствовали, что сейчас, в следующую секунду, что-то произойдет. В тишине

были слышны частые удары молотков, это работали на фабрике статуй под дворцовой стеной, молотки стучали как сердца.

Все разрешилось совершенно неожиданно: через неплотно прикрытую Приском дверь, хлопая крыльями, влетел петух императора, белый Рим. Следом за ним в комнату вбежала девушка с протянутыми руками. Все встали: это была Плацидия, сестра императора. Ее волосы сверкали, они были огненно-рыжие и были осыпаны золотой пудрой. У нее были чуть раскосые зеленоватые глаза и будто такие же раскосые маленькие груди. «Лови его, Басс, лови!» — закричала она. Басс присел, расставив полы одежды. Петух остановился, золотая корона у него съехала набок. Плацидия взяла его на руки, белые перья на шее у него встопорщились, он нацелился и клюнул девушку в грудь, в острый кончик, обтянутый платьем. Она повела плечами, засмеялась, раскосо посмотрела вокруг, каждому показалось, что она посмотрела именно на него.

«Это мой юный друг Приск, из Византии», — сказал ей Басс, положив руку на плечо Приска. Он почувствовал: это плечо под его рукой дрожало. Красный, полуоткрыв рот, Приск смотрел на Плацидию. «Из Византии?» — рассеянно переспросила она, раскосо скользнув глазами по лицу Приска. В это время петух снова клюнул ее в левую грудь. «Бесстыдник! Возьми его, Басс, и неси за мной, он не может спокойно смотреть на меня!» — «А ты думаешь, я или кто-нибудь из нас — может?» — играя морщинами, сказал Басс. Девушка исподлобья взглянула на него и засмеялась. Потом она быстро, остро клюнула глазами каждого из тех, кто был здесь, и вместе с Бассом вышла.

И все-таки она осталась здесь, она была в каждом. (Ее запах вошел в ноздри Атиллы. Это был теплый запах ее пота, смешанный с чем-то чужим, приторным, как дыхание падали. Атилла отвернулся и перестал дышать, он умел удерживать дыхание надолго.) Гарицо Длинный облизывал губы. «У этой девочки, должно быть, волосы везде такие же золотые, как на голове. Я бы хотел полежать с ней! Даю голову на отсечение, что в этом искусстве она...»

Гарицо не кончил: что-то с грохотом упало, зазвенело. Это был столик, на котором стояла ваза. Приск задел ее, по-медвежьи, тяжело шагнул по направлению к Гарицо. Уже подойдя, он как будто вспомнил что-то, растерянно заморгал, повернул под прямым углом и выбежал в дверь.

В глубине гулко, с огромными окнами коридора он увидел Басса, Басс передавал свою драгоценную ношу седоволосому хранителю императорского петуха. Немного подальше шла Плацидия, солнце показывало ее круглые ноги сквозь тонкую ткань. Она уже сворачивала за угол коридора, еще мгновение — и она исчезнет... «Приск, подожди — куда ты?» — крикнул Басс. Приск только взглянул на него дикими глазами и, ничего не ответив, быстро пробежал мимо.



Плацидия услышала за собой его шаги, остановилась, обернулась. Это была божественная августа, сестра императора. Она высокомерно, удивленно посмотрела на Приска. «А вдруг — я ошибся, вдруг и это только случайное сходство!» — пронеслось у него в голове. Он забыл все слова, он стоял молча, весь красный. «Тебе что-нибудь от меня нужно?» — спросила она. «Нет...» — пробормотал Приск. Она пожала плечами и ушла, не оглядываясь. Приск увидел, как огромная — в два человеческих роста — дверь в императорские покои открылась перед ней, потом захлопнулась. Все было кончено.

6

Три дня Атиллы не видел волка. Теперь он взял спрятанный за обедом кусок мяса и пошел в парк.

Была полная луна, каменные плиты на дворе лежали мягкие и белые, как будто это был снег. Под дворцовой стеной была черная тень. Атиллы шел, все время держась в тени, чтобы его не увидели часовые: они стояли у золотых ворот, один чуть слышно пел песню о том, как он рубил дерево, а из дерева потекла кровь.

Ступая неслышно, как волк, Атиллы проскользнул в парк. Там тоже все было белое и черное. Под деревьями, белея, стояли голые женщины из камня. Внизу из оврага был слышен женский смех, голоса, Атиллы знал, что там Басс, Гарицо, Уффа и остальные играют с женщинами. Ни около волчьей клетки, ни поблизости никого не было, можно было кормить волка и чувствовать его теплоту.

Атиллы вошел в черный круг дерева, под которым стояла клетка. В темноте глаза волка блестели, как два зеленых светляка. Атиллы просунул мясо сквозь прутья, светляки отодвинулись, волк ворчал. «Что ты? Это я, это я», — сказал Атиллы, но волк продолжал ворчать, забившись в дальний угол.

Атилла понял, что волк был злой. Гарицо и другие часто дразнили его, просовывая палки сквозь прутья — наверное, так было и сегодня. Атилла вдруг громко засмеялся — и сейчас же закрыл себе рот ладонью, чтобы никто не услышал. Но он продолжал смеяться внутри, он не мог перестать, потому что он сейчас видел все, что произойдет. Он нагнулся и открыл дверь клетки. Волк, блестя глазами, сидел все так же, забившись в угол, но Атилла знал, что потом он выскочит. Внизу в овраге голос Гарицо закричал: «Лови ее, лови!»

Мягкими волчьими шагами Атилла снова прошел по белым плитам двора. Если бы это был снег, он бы скрипел под ногами. Внезапно ему так захотелось, чтобы это был снег, что ему даже стало больно внутри, он остановился. «Эй, кто там?» — крикнул часовой у ворот. Атилла быстро нырнул в тень и прижался к стене за водосточной трубой. Часовой вышел на середину двора, постоял, потом вернулся к товарищам, что-то сказал им и снова запел. Опасность миновала. Маленькая боковая дверь во дворец была рядом.

У себя в комнате Атилла стоял, не шевелясь, сделав уши острыми, как волк, чующий добычу. Он ждал, что сейчас в парке закричат, он видел, как Гарицо испуганно лезет на дерево и его одежду рвут сучья, все бегут в разные стороны, волк прыжком опрокидывает Басса...

Но в парке все было тихо. А может быть, волк из клетки выбежал не в парк, а во двор, потом на улицу — и теперь уже мчится где-нибудь по полям? Атилла побежал вместе с волком, все дальше. Ему опять стало больно внутри, потому что он увидел волчьи следы на снегу, это было уже не здесь, а там, дома. Под окном стояло дерево, сучья у него были белые и мягкие от снега. На шее лежала теплая ладонь Куны. Странник с птичьим клювом сидел у огня и рассказывал о треугольном городе...

«Императора... Где император? Скорее разбудить императора!» Красная полоска из-под двери разрешила темноту комнаты, как нож. Были слышны испуганные, задыхающиеся от бега голоса. Атилла побежал к двери и чуть приоткрыл ее. Он увидел: солдаты с факелами обступили евнуха, красный свет дрожал на его старушечьем лице. Он еле выговорил трясущимися губами: «Что? Что случилось?» Атилла знал, что: это — его волк, сейчас солдаты расскажут, что он сделал.

Но он услышал совсем другое — такое, что у него забилося сердце и он едва не вскрикнул от радости. Солдаты, перебивая друг друга, рассказывали евнуху, что они стояли у ворот, как вдруг подскочил всадник, его лошадь задыхалась, с ее губ падала пена. Всадник привез известие, что хуны изменили, они внезапно напали на римскую заставу и изрубили всех. «Это был сам Улд!» — «Они идут на Рим, утром они будут здесь!» — «Тише! Тише!» — отчаянным шепотом закричал евнух. «Где он, где этот человек?» — «Он сам ранен, он лежит на дворе...» «Он, может быть, уже умер», — перебил другой солдат. Все замолчали. Смола с факелов, шипя, падала на пол. Евнух махнул рукой и побежал, солдаты за ним. В коридоре дворца стало темно.

Раненый, привезший известие о неожиданной измене Улда, был еще жив. Он подтвердил все, что говорили солдаты. Нужно было разбудить императора, но все боялись, никто не смел входить к нему ночью. Это могла сделать только Плацидия, но что, если она сама сейчас там? Все во дворце знали, что император часто спит с сестрой.

К счастью, они сегодня спали отдельно. Торопливо закручивая вокруг головы свои рыжие волосы, Плацидия выбежала на стук в белой ночной одежде и в красных туфлях. Одна туфля зацепилась за порог и соскочила. Плацидия даже не заметила, она быстро шла в одной туфле, это увидел евнух, он сказал ей. Она, не останавливаясь, сбросила на ходу вторую туфлю и пошла дальше.

У дверей императорской спальни стоял огромный светловолосый аллеман, любимец Гонория. Плацидия вошла в спальню и сзади нее, на цыпочках, евнух. Белый мальтийский щенок императора выскочил из-под кровати и залаял. Император поднял налитые сном веки, они сейчас же снова упали. Он, не глядя, опустил руку, поднял подол Плацидии и провел рукой вверх по ее горячей, круглой ноге. «Дурак! Оставь! — оттолкнула она его руку. — Случилось несчастье».

Гонорий открыл глаза и увидел трясущиеся губы евнуха. «Рим... Рим...» — евнух не мог говорить. «Что — Рим?» — «Рим — погиб!» — неожиданно громко выкрикнул евнух и заплакал. Император вскочил. Его маленький, тесный рот сдвинулся влево, глаза стали круглыми, как у птицы, собирающейся клюнуть. «Мерзавцы! — закричал он. — Обкормили? Принесите — сейчас же принесите его мне сюда!»

Евнух разинул рот, нижняя губа его висела синяя, как мясо, ему показалось, что император лишился рассудка. Потом он понял: император говорит о своем любимом петухе. «Нет, не петух! Город Рим! Империя!» — сказал евнух, с силой вталкивая в императора каждое слово. Гонорий громко, с облегчением вздохнул. «Фу, как ты меня напугал! Значит, мой маленький Рим жив? Ну, хорошо. Тогда что же случилось?»

Евнух рассказал. Когда император наконец понял, что хуны изменили, что завтра утром они уже могут ворваться в Рим, ноги у него стали мягкими, он лег. «Как завтра? Нет, не завтра, это не может быть, это не может быть...» — растерянно повторял он, стараясь плотнее закутаться одеялом. Плацидия резко дернула его за руку: «Вставай сейчас же, слышишь?» Ее зеленые глаза кололи. Император испуганно, исподлобья посмотрел на нее и быстро спустил с кровати худые голые ноги.

Случилось так, что в тот вечер, когда Атилла выпустил волка, Басса в парке не было. Он остался дома, у него был Приск.

Приск пришел к Бассу так, как люди идут к хирургу: они знают, что сейчас в их живое тело войдет нож, но уж лучше это, чем медленная, ни на минуту не умолкающая боль. Эта боль называлась Пласидией. Приск знал, что Басс поднимет его на смех, но ему надо было выкричать перед кем-нибудь свою боль, и у него никого не было, кроме Басса.

То, что он увидел у Басса, было так неожиданно, что он на время совершенно забыл, зачем он явился сюда. Он с удивлением смотрел на жалкий облупленный потолок, на брошенный на полу травяной веник, на черствый кусок сыра на столе. Басс стоял в странной позе: лицом к стене. Он не повернулся, он сказал только: «А, это ты, Приск?» — и продолжал стоять все так же. Приск растерялся. «Прости, Басс, я хотел тебя увидеть, но если...» — «Ты хотел меня увидеть? — перебил его Басс. — Так вот смотри!»

Он повернулся лицом к Приску. Приск отступил на шаг: как, это — Басс? Да, это был Басс, его лысый огромный лоб, и на лице — та же сложная сеть морщин. Но вместо всегдашних улыбок по этим морщинам сейчас ползли вниз... слезы! Приск услышал, как Басс проглотил их, это было похоже на булькание брошенного в воду камня. «Басс, это — ты?» — нелепо спросил Приск. «Да, это — я... — Басс взял отрезанный кусок сыра и внимательно разглядывал его. — Я, к сожалению, — человек. Ты, кажется, этого не думал?»

Он сел и опустил лоб на руку, в руке по-прежнему был кусок сыра. «Ничего, ничего не осталось, — сказал он совершенно спокойно. — Ни богов, ни Бога, ни отечества. Очень холодно. А у нее были теплые, живые губы, ее звали Юлия, она умерла... Моя жена умерла сегодня». — «Как? У тебя была жена?» — спросил Приск и покраснел, он вспомнил все, что говорил Басс о женщинах. Басс поднял голову, глаза у него были сухие, капли на лице как будто проступали через кожу изнутри. Он ударил кулаком по столу, кусок сыра сломался, в руке осталась только половина. «Она давно ушла от меня с низколобым кретином, цирковым атлетом, быком! Ты видел теперь, как я живу? Почему? Потому что все свои деньги я отдавал ей и ее любовнику, я содержал их обоих. Но зато хоть изредка она позволяла мне приходить к ней, а теперь...» Он стал внимательно разглядывать корку сыра, которую все еще держал в руке, вдруг бросил ее на стол и вышел, захлопнув за собой дверь.

Приск стоял, ошеломленный, и думал без слов, глядя перед собой на стену и ничего не видя. Потом он разглядел на стене картину в золотой засиженной мухами раме: Пасифая, стоя на четвереньках, отдавалась быку, ее лица не было видно, оно было закрыто ее распущенными волосами. Приску показалось, что если бы можно было откинуть назад эти волосы, то он увидел бы знакомые раскосые глаза. Под картиной стояли на столике водяные часы — две стеклянных змеи, соединившихся жалами. Время текло в них тоненькой голубой струйкой. Басса все не было.

Когда он вернулся, то новый, неожиданный человек, который на мгновение мелькнул Приску, уже исчез: теперь это был прежний, беспощадно улыбающийся Басс. «Не правда ли — это было смешно? — сказал он. — Я отлично помню: у меня в руке все время был кусок сыра... — он засмеялся. — В сущности, все обстоит превосходно: я сразу разбогател, мне теперь уже незачем тратить себя на обтесывание кретинов... Впрочем, нет: это меня забавляет. Там, во дворце, у меня есть молодой хун, он держится крепко, но я добьюсь своего!»

Басс говорил очень быстро, глаза у него блестели, как будто его сжигала такая же смертельная лихорадка, как маленького лонгобарда Айстульфа. В руке он держал небольшую серебряную коробку — как раньше кусок сыра. Он заметил, что Приск смотрит на нее. «Ах, это? Это — отличное лекарство, привезенное из Китая, они мудрее нас, они умеют лечить даже души». Он быстро, остро взглянул на Приска, вернее — не на него, а в него, внутрь — и протянул ему коробку: «Возьми, попробуй, тебе это тоже будет полезно». Приск послушно взял и проглотил горькую пилюльку. «А теперь — идем к „Трем Морьякам“ и выпьем в честь нашего нового вождя — Улда. Как? Ты еще не знаешь о его победе под Флоренцией?» Он начал рассказывать, его морщины шевелились, как клубок змей, его слова жалили. Сзади жалобно скулил увязавшийся за ними щенок с вывернутым наизнанку ухом.

Когда они прошли несколько кварталов, с Приском началось что-то очень странное. Было так, будто отодвинулись какие-то стены и Приск стал расширяться, сначала медленно, а потом все быстрее. Скоро он почувствовал, что весь мир, все бесчисленное множество вещей больших и малых — не вне его, как всегда, а внутри, в нем. Горькая, зеленоватая луна в небе, облитые бледным светом поля под Флоренцией, темные, ничком, трупы, фонарь над лотком ночной торговки, красное зарево позади замка св. Ангела, гогочущая римская толпа, пьяный бородатый монах, пляшущий на бочке, грохот рушащейся в огонь крыши, сквозь огонь — черные человеческие волны, несущиеся с Востока, попавший под ноги щенок с вывернутым ухом, этот раздавленный щенок, и Басс, и сам Приск, непонятно слитые в одно живое существо, розовый попугай на руке у слепого солдата, боль от звона брошенной ему монеты, голос, выкрикивающий объявление о завтрашнем триумфе, Пасифая-Плацидия на четвереньках — голая, мерзкая, прекрасная... Он видел, слышал, чувствовал все это сразу, он был как вездесущий Бог.

«Да, да. Ибо: „Человек имеет повеление стать Богом“, этому учил нас Василий Великий. Так что мы, милейший мой Приск, выполняем завет церкви... с помощью китайских пилюль!»

Они стояли на мосту, как в день первой их встречи. В черной воде дрожали огни Рима, каждое мгновение готовые рассыпаться, исчезнуть. «Она исчезла, — с горечью во рту сказал Приск. — Она притворилась, что не узнала меня. Еще бы! Она — божественная августа, а кто я?» — «Ты же только что утверждал, что ты — бог, — засмеялся Басс. — Бедный бог!» Но тотчас же он стал серьезным, он опять стал тем неожиданным человеком — Бассом, которого впервые увидел в тот вечер Приск. Человек-Басс пристально, глубоко посмотрел на Приска: «Мой юный друг, уезжай

отсюда скорее. Ты станешь как я, ты здесь погибнешь». — «Я уже погиб, — сказал Приск. — Я буду ждать ее целые дни, у ворот дворца, у входа в театр, на улице, всюду, где она может появиться, я подойду к ней при всех, я скажу ей... Я не могу отсюда уехать, потому что здесь она. Не могу! И пока у меня есть деньги...» — «Деньги, которые тебе дал Евзапий?» — перебил его Басс. Приск остановился, как будто с разбегу налетел на стену.

Это была стена в бедной комнате Евзапия. На столе среди книг лежал черствый кусок сыра, травяной веник валялся на полу. Евзапий сказал, что ему стыдно напоминать об этом — о том, что он жил как нищий, во всем отказывал себе, только чтобы собрать эти деньги и дать Приску возможность написать книгу. Такую книгу, великую и страшную, мог бы написать Ной в дни потопа — если бы он умел писать. «Ты, Приск, избран был Ноем, тебе была доверена эта книга, а ты... Говори! Оправдывайся! Что же ты молчишь?» — сурово сказал он.

Это был Евзапий, но это в то же время был Басс. Под ногами качался и исчезал утопающий Рим. Уши у Приска горели, во рту была нестерпимая горечь. «Я напишу эту книгу! — крикнул он. — Клянусь тебе: я напишу ее, я уеду отсюда!» — «Я тебе верю», — сказал Басс. Оглянувшись по сторонам, он обнял и крепко поцеловал Приска.

7

С городской хлебопекарни пожар перекинулся на другие дома. Багровое, распухшее небо над замком св. Ангела покачивалось, готовое рухнуть. В императорской спальне зловещие красные пятна проступали на белом шелке стен, на подушках, на бледных щеках Гонория. Перед ним стоял евнух с императорским панцирем наготове. За дверью ждали министры, придворные, тревожно перешептывались солдаты дворцовой гвардии.

«Ты меня не жалеешь, — сердито сказал Гонорий и сунул Плацидии руку. — На, смотри: у меня опять лихорадка. Пусть как хотят — без меня... Я уеду в Равенну!» Он выхватил из рук евнуха

панцирь и бросил его на пол. Плацидия стиснула мелкие, острые зубы, ей хотелось крикнуть грубое матросское ругательство, но она удержалась.

Она открыла дверь. Шепот замолк. Подняв голову, она отчетливо, сверху, сказала: «Император болен, он отбывает в Равенну. Он уверен, что вы и без него сумеете достойно наказать этих изменников — хунов». Шепот среди солдат стал слышнее, сквозь него, как огонь, уже пробивались отдельные громкие голоса. «Что такое?» — сказала Плацидия и пошла прямо на солдат. Они замолкли и попятились. Плацидия, не торопясь, пошла обратно, в дверях остановилась. «Не пускать никого», — приказала она огромному белокурому аллеману. Однажды ночью, доведенная до неистовства бессильными ласками Гонория, она ушла от него и позвала в свою спальню аллемана. Это было только один раз, но он запомнил это навсегда. Он посмотрел на нее сейчас как на бога и стал у дверей.

Скоро по каменным плитам двора прогремели колеса закрытой кожаной каруццы, простой, без всяких украшений. Император хотел проехать через Рим неузнанным, он не брал с собой ни конвоя, ни свиты. Луна уже зашла. На дворе было пусто, темно, только красные пятна зарева шевелились на дворцовых стенах, поблескивая в зрачках лошадей. Гонорий вышел из маленькой боковой двери, он прижимал к груди своего петуха, под ногами у него вертелся его мальтийский щенок.

Вдруг щенок злобно залаял и кинулся в другую сторону двора, где чернели вдоль стен кусты роз. Он жалобно, пронзительно взвизгнул там, потом еще раз и замолк. «Что там такое, что там?» — испуганно сказал император. Евнух, колыхая животом, пошел туда, но через несколько шагов остановился и стал пятиться назад, потом побежал. Все увидели освещенную красным светом огромную собаку, выскочившую из кустов.

Первыми поняли всё лошади: они, храпя, взвились на дыбы и промчались к воротам. Волк постоял секунду, как будто выбирая, потом прыгнул на людей. Император вцепился в руку Плацидии. Евнух упал и, лежа, вопил тонким женским голосом: «Помогите!» От ворот во весь дух бежали часовые. Плацидия успела подумать, что они не добегут — и пусть: лучше так, чем если когда-нибудь убьют солдаты...

Огромный аллеман прыгнул так же быстро, как волк, на камнях забился живой узел, в котором перепутались животное и человек. Волк остался лежать, аллеман встал. Из его бедра по голой ноге ручьем текла кровь. Он, тяжело дыша, остановился перед Плацидией и счастливо, молитвенно смотрел на нее. Плацидия, сорвав с себя шарф, перевязала ему рану. Из всех выходов дворца сыпались люди, переполошенные криками евнуха.

Он стоял теперь перед императором, нижняя губа его отвисла и тряслась. «Это заговор! — кричал Гонорий, его маленький рот съехал совсем влево. — Кто выпустил его из клетки, кто? Ты это узнаешь — или ответишь за это сам!» Он влез в экипаж. «Когда я вернусь», — тихо сказала Платидия аллеману и села рядом с Гонорием. Золотые ворота, медленно блестя, открылись, колеса загремели железом по камню.

Каруцца императора ехала так, чтобы миновать Эсквилин и Виминал — 5-й округ, сплошь населенный пролетариями. Когда выехали из города, Гонорий высунулся из экипажа и оглянулся, как будто своими глазами хотел убедиться, что все осталось уже позади. Луны не было, римские стены были черные, только на самом верху их мелькали багровые, дымные огни: это бежали солдаты с факелами, римский гарнизон готовился к бою. «Красиво, правда?» — сказал император. Платидия не ответила. Император вынул из-под сиденья экипажа дорожный горшок, помочился, поставил посуду на место и спокойно, счастливо заснул.

Перед зарей на верху стен стало холодно. Солдаты сидели кучками и, прижавшись друг к другу, дрожали. Злые, усталые начальники когорт покрасневшими глазами вглядывались в белый туман внизу: оттуда каждую минуту могли появиться хуны. Было тихо, только где-то далеко, как часовые, перекликались в темноте петухи. Вдруг на стене у Аппиевых ворот что-то закричало, и быстро, как огонь по смоляной нитке, крик побежал от башни к башне. Солдаты вскакивали: «Хуны! Где? Где?» — хватались за оружие...

Но через несколько минут все уже знали, что из императорского дворца получен приказ: всем немедленно разойтись по казармам. Офицеры ничего не понимали: что ж это — предательство? Сдают Рим без боя? Они пытались удержать солдат, но солдаты, не слушая, весело бежали вниз по лестницам: жалованье они получили только вчера, а на остальное им было наплевать.

Стены быстро опустели. Рим остался беззащитным.

Завтра Улд возьмет Рим! Атилла слушал и, прикрыв рот ладонью, смеялся от счастья. Он понял, что Улд обманул римлян, как лисица обманывает собак на охоте.

Когда солдаты и евнух ушли будить императора, Атилла вышел в коридор. В огромном окне плясало зарево, Атилла смотрел. Ему было тесно, сердце билось в ребра, как в прутья клетки. Оно вырвалось и полетело над завтрашним днем. Зарево стояло уже над всем Римом, Улд ехал по улицам, красный от огня, такой же большой, как отец, Мудьюг. Атилла ехал рядом с ним, он вдыхал его запах, сердце билось. Они взглянули друг на друга и засмеялись: навстречу им конники гнали императора, он был внизу, маленький, босой, за ним — тоже босых — гнали Басса, Гарицо, Уффу, евнуха, Платидию...



Босые ноги шлепали по коридору. Это был Уффа, в ночной рубашке. Он был белый, жидкий, как тесто, из которого Куна пекла хлеб. Он подбежал к Атилле, схватил его трясущейся рукой. «Скажи, это верно, что Улд...» — «Верно», — перебил его Атилла и ушел в свою комнату, он рассердился, что Уффа помешал ему видеть Улда.

Он лег на постель и закрыл глаза. Скоро он увидел тот самый треугольный город Радагост, о котором давно, дома, рассказывал странник. Город был в руке у Атиллы. Он сжал руку. Запертые в треугольнике, метались маленькие, как муравьи, люди. Атилла сжал руку крепче, люди забегали еще быстрее, и на руку к нему закапал красный сок. Руке стало горячо, он проснулся. Внизу, на дворе, кто-то тонким голосом кричал: «Помогите! Помогите!» Хлопали двери, по коридору стремглав бежали люди. «Улд!» — подумал Атилла. Сердце его взлетело, он побежал вместе со всеми.

Внизу на дворе он увидел волка. Волк уже лежал мертвый, темный на белых плитах. Атилла вспомнил теплоту его шеи, горячий шершавый язык, лизавший руку. Теперь Атилла остался совсем один... Нет, не один: завтра здесь будет Улд! Атилла услышал, как император приказал найти того, кто выпустил волка из клетки. Атилле стало смешно, это было как игра: они искали его, а он был здесь, рядом с ними.

Во дворце никто не ложился в эту ночь. Она уже шла к концу, небо позеленело, на дворе стало холодно. Все толпились в нижнем зале. Атилла вошел туда и увидел евнуха отдельно от всех. Евнух сидел в полукруглой нише окна, выходящего в парк, перед ним стоял рябой солдат. Атилла сразу же узнал его: этот солдат вечером стоял на часах у ворот и пел, от него Атилла спрятался за водосточную трубу. К солдату подошел Уффа, солдат посмотрел на него, покачал головой: «нет». Потом также прошли мимо солдата Гарицо Длинный и другие, которые вечером были с женщинами в парке. Атилла понял.

Он все понял в одно мгновение, без слов, как понимает лисица каждое движение догоняющих ее собак. По телу у него пробежал веселый холодок. Он почувствовал спиной, что сзади него двери во двор открыты. Рябой солдат что-то хотел сказать евнуху, но остался с разинутым ртом, глядя в ту сторону, где стоял Атилла. Все так же, без слов, Атилла понял, что солдат увидел, узнал его и что теперь нельзя терять ни одного мгновения. Вскочивший с кресла евнух и солдат и другие уже бежали сюда. Атилла быстро повернулся к дверям...

В дверях стоял горбун. Атилла ошибся: все бежали потому, что увидели вошедшего горбуна. Длинные его руки висели ниже колен, лицо было серое от усталости и от дорожной пыли. Его окружили, спрашивали, дергали, все знали, что он был у хунов, что сейчас он оттуда. Горбун ничего не отвечал, он сказал только: «Пить!» Какой-то солдат дал ему флягу с вином. Евнух с

ненавистью смотрел, как, жадно глотая вино, двигался кадык на шее горбуна. «Довольно! Говори!» — крикнул он, не дождавшись, и вырвал у горбуна флягу.

Горбун рассказал, как все произошло. Улд, обогнавши войска, ехал впереди всех. Начальник римской заставы не рассмотрел его в темноте, схватил его коня под узды и крикнул: «Стой! Нельзя!» — «Нельзя! Мне?» Улд засмеялся и убил его, а люди Улда убили остальных. Спасся только один — тот самый, какой в начале ночи прискакал во дворец и поднял тревогу. Горбун объяснил Улду, что из всего этого может получиться. Тогда Улд послал горбуна в Рим, сказать, что он «пошутил» и что он готов за каждого убитого римского солдата заплатить по два коня.

Из дворца тотчас же поскакали гонцы с приказом гарнизону сойти со стен и вернуться в казармы. Дворцовый зал быстро опустел, все вдруг почувствовали, как они устали в эту ночь. Горбун тоже хотел идти к себе, но остановился: он заметил Атиллу. Таким он его никогда не видел: маленький хун был так бледен, как будто из него выпустили всю кровь. Горбун испугался. «Что с тобой? Ты болен?» — «Не трогай меня!» Атилла оттолкнул руку горбуна и пошел куда-то, ему было теперь все равно куда идти, потому что Улда больше не было.

Наутро, такой же бледный, он стоял внизу, возле устланного красным сукном помоста. Он, не отрываясь, жадно следил глазами за каждым движением Улда. Вместе с другими Атилла поднялся на помост. Улд был теперь близко. Он подошел к Атилле и взял его за подбородок, Атилла перестал дышать и мгновение не видел и не слышал. Он опомнился только тогда, когда почувствовал: его зубы с наслаждением впились во что-то. Во рту у него стало тепло и солоно, это была кровь Улда, он стал дышать, то, что его душило, — теперь прошло.

Солдаты держали его за руки и вели во дворец. Он слышал, как кричала толпа, но он не хотел смотреть на них, он шел, нагнув голову с двумя торчащими, как рога, вихрами. «Подними морду! Тебе говорю — слышишь?» — Это был голос евнуха, Атилла поднял глаза. Золотые дворцовые ворота блестели, около них стоял рябой солдат, тот самый. Солдат, прищурясь, весело посмотрел на Атиллу и сказал: «Это он!» Синяя нижняя губа у евнуха затряслась, он замахнулся. Атилла оскалил глаза как зубы и взглянул на евнуха, и тот опустил руку. Брызга от злости слюной, евнух закричал солдатам: «Тащите его туда и закройте, пусть сидит там!»

Железный засов лязгнул и вошел в петли. Атилла был закрыт в пустой волчьей клетке, на дверь повесили большой замок. Рябой солдат повернулся спиной к Атилле, поднял свою одежду и похлопал себя рукой по голому заду, исполосованному белыми рубцами. Атилла понял. Он бросился к двери, вцепился в прутья и изо всех сил затряс их, железо звенело. Солдаты смотрели и смеялись. Атилла отвернулся от них и стоял, скрипя зубами. На плечах и на спине он чувствовал от их смеха жгучие полосы, как от ударов кнута.

Потом он узнал картавый знакомый голос, это был Гарицо и его компания, с ними было несколько молодых римлян. Изображая хозяина бродячего зверинца, Гарицо ломаным языком расхваливал диковинные свойства запертого в клетке зверя. Жилы на лбу у Атиллы напряглись, ему казалось, что они сейчас лопнут, но он стоял все так же. Что-то толкнуло в бок, в спину. Он не повернулся, но углом глаза увидел конец длинной жерди, просунутой в клетку. К его ногам упало надкусанное яблоко, потом в голову ему ударил метко брошенный небольшой камень. Он стоял не двигаясь. Тем стало скучно, они ушли. Вместо них появились другие люди, мужчины и женщины. Атилла слышал их голоса. Их становилось все больше, как будто весь Рим собрался в парке смотреть на посаженного в клетку хуна. Когда они заходили сбоку, чтобы взглянуть ему в лицо, Атилла закрывал глаза. Он стоял, крепко сжимая руки, как если бы в них был треугольный город, на мгновение приснившийся ему ночью. Он стоял и думал, что когда-нибудь это будет на самом деле и тогда он сожмет всех их так, что из них брызнет сок.

Евнух отправил посла вдогонку императору, чтобы известить его обо всем происшедшем. Гонец догнал императора перед вечером, когда уже садилось солнце. Император лежал на красном ковре в лесу, недалеко от дороги. Он только что кончил ужинать, за ужином он съел больше чем надо, ему было грустно, он думал о боге. Но как только Плацидия начала читать ему доклад евнуха, он развеселился. «Что? Что? Укусил триумфатора?» Он хохотал до слез. Потом он вытер глаза, и Плацидия стала читать дальше — о том, что этот же маленький хун выпустил волка из клетки, евнух спрашивал, как поступить с ним. Император, скривив рот, молчал, подумал. Затем взял перо, написал несколько слов евнуху и отдал письмо гонцу.

На другое утро евнух с солдатами пришел к клетке, снял замок и открыл дверь. «Выходи, эй, ты!» Но Атилла ни за что не хотел выйти, он вцепился в железные прутья, его не могли оторвать. Рябой солдат ударил его по пальцам ножнами меча, побелевшие пальцы разжались, тогда его удалось вытащить. Солдат сказал: «Ты чего брыкаешься? Теперь ты будешь сидеть не в клетке, а в комнате, до того дня, когда...» — «Не разговаривать!» — крикнул евнух. Солдат замолчал. Атиллу отвели в пустую незнакомую комнату и заперли там.

Дверь была низкая, окованная железом. В комнате не было углов, она была круглая. Атилла ходил кругом, толстые стены молчали, у них не было ни начала ни конца. Ему стало казаться, что так было всегда и никогда не было ничего другого, ни травы, ни снега, ни теплой руки Куны, ни одноглазого Адолба. Он вспомнил брата Бледу и подумал, что обрадовался бы, если бы почувствовал сейчас на шее его холодные пальцы. Еду и питье ему приносили, когда он спал, он не видел ни одного человека. По полу неслышно двигалось светлое пятно с черным переплетом — тень от решетки круглого окна наверху. Черная тень медленно выползала на стену, на потолок, потухала. Это повторялось, это тоже было круглое. Потом внезапно круг разорвался: открылась дверь, вошли люди.

Окно еще только чуть светлело, но Атилла не спал. Он вскочил и хотел закричать, но потом подумал, что тогда все соберутся и будут смотреть на него и это будет еще хуже. Он сказал: «Я пойду сам». Спустились во двор. Он жадно глотнул запах мокрой травы из парка и посмотрел вверх, небо было исполосовано красными рубцами зари. Покрытое росой золото ворот было тусклое. Он шел спокойно, но глазами уже выпрыгнул за ворота, он сказал себе: «Когда выведут туда...»

Ворота медленно приоткрылись, Атиллу вывели на улицу. Он весь напрягся — так, что все в нем как будто зазвенело. В одно мгновение он пролетел над лежавшим внизу в тумане Римом до синей полосы дальнего леса и вернулся назад. Здесь был старик в войлочной шляпе с веткой в руке вместо кнута, он шел около воза дров, одно полено торчало. Атилла схватил его глазами, чуть заметно пригнулся и сделал ноги стальными для прыжка. Сзади, с каменной скамьи около ворот, встали какие-то люди. Атилла почувствовал это движение и в самый последний момент, уже весь устремленный вперед, почти летящий, углом глаза оглянулся на вставших. Тотчас же глаза, ноги, руки, сердце — все в нем остановилось. Он глотнул воздух и не мог его выдохнуть, он смотрел не дыша: от скамьи к нему шел одноглазый Адолб... Кинуться к нему, прижаться всем телом, дышать с ним!

Но Атилла запретил себе это, он стоял не двигаясь, он знал, что римляне смотрят на него. Адолб подошел и взял его за руку. «Что ты тут натворил? Нас известили, чтобы мы приехали и взяли тебя домой». Губы у Атиллы шевелились, но он не мог сказать ни слова в ответ. Тогда Адолб сбоку, одноглазо как птица, посмотрел на римлян и спросил Атиллу как начальника, как князя: «Прикажешь, господин, ехать сейчас?» Он сказал это уже на римском языке, так, чтобы римляне поняли. «Да, сейчас», — приказал Атилла. Его сердце, стуча, мчалось, ему хотелось лететь, но он велел себе идти медленно. Он шел не оглядываясь.

Они ехали тем же самым путем, как три года назад. Атилла узнавал города из белого камня, мутные и желтые от глины реки, похожие на зеленых медведей горы. Но теперь у него были новые глаза, он видел не только это.

Однажды перед вечером они въехали в деревню, чтобы купить хлеба и мяса, но в деревне никого не было. Все двери стояли открытые настежь, ветер покачивал их на петлях. Видна была брошенная на столах посуда, оголенные постели. У порога одного дома, широко раскрывая рот, кричала худая кошка. «Не прошла ли здесь чума?» — сказал Адолб. Лошади косились и поводили ушами.

Скоро они догнали двигавшийся по дороге обоз. На заваленных узлами телегах сидели женщины и дети. Мужчины шли возле. Адолб спросил их, они сказали, что не могли больше платить за землю и бросили ее. Они увидели, что их слушают, и все разом стали кричать, грозя кому-то, проклиная, богохульствуя. Атилла смотрел на них, собирая в себя их лица, потом засмеялся. «Почему ты смеешься?» — спросил Адолб. «Потому что все это хорошо», — сказал Атилла. Адолб долго молча ехал рядом с ним, потом взглянул на него так, будто в первый раз увидел его, и сказал: «Вон ты какой!»

Недалеко от Марга дорога кольцами, как змея, ползла вверх на гору. Адолб торопился попасть в Марг до захода солнца, пока городские ворота были еще открыты. Но на повороте Атилла вдруг остановил своего коня и, перегнувшись, стал смотреть вниз, в долину. Адолб рассердился и начал браниться. Атилла обернулся, он ничего не сказал, но его глаза прошли сквозь Адолба как железо. Адолб разинул рот и замолк.

Внизу в долине остановился римский отряд, солдаты строили лагерь, Атилла смотрел на них. Через два часа там вырос маленький четырехугольный город, черные среди зелени земляные валы кругом, ровные белые улицы палаток. Атилла не шевельнулся, не оторвал глаз, пока все не было кончено, только тогда он тронул поводья и поехал. Солнце уже спрятало голову, от него остался только распущенный по небу хвост из красных перьев. Когда подъехали к Маргу, ворота были заперты. У Адолба глаз стал злой, круглый, он хотел сказать Атилле, что это из-за него они опоздали, но посмотрел на него и ничего не сказал: он почувствовал, что не смеет, и сам удивился этому, когда понял.

Утром выехали из Марга. Каменная дорога, бежавшая от самого Рима через поля, реки, горы — здесь кончилась. Конские копыта теперь ударяли мягко, под ногами был уже не камень, а земля, степь. Она лежала под солнцем, теплая, влажная. Сверху, будто из солнца, ручьями лились жаворонки. Тугой ветер летел, пел во рту. Атилла глотал его ртом, ноздрями, всем телом. Он раскраснелся, глаза у него блестели, он снова стал мальчиком. На всем скаку он, держась ногами, повис под брюхом лошади, сорвал пук травы и замахал им, оглядываясь на Адолба.

В полдень они проехали между двух столбов, на столбах были деревянные головы с висячими медными усами. Запахло конским навозом, рекой, дымом. Внизу, на берегу, кипел торг, хлопали бичи, лошади ржали. Недалеко от столбов стояла кузница. Сзади нее, под глиняной желтой стеной, Атилла увидел несколько человек: повесив пояса на шею и спустив штаны, они сидели на корточках и неторопливо разговаривали. В Риме Атилла совсем забыл про это, а сейчас мгновенно вспомнил, что много раз видел это в детстве. Он засмеялся так громко, что Адолб удивленно посмотрел на него. «Да смотри же, смотри!» — Атилла показал пальцем на сидевших под кузницей. Он захлебывался от смеха, от счастья, что узнал своих людей, свою землю, но у него не было слов, чтобы объяснить это Адолбу.

Адолб так и не понял. Он озабоченно, как наседка, высматривающая ястреба, одним глазом смотрел вдаль: кто знает, что там ждет их?

Огромный круглый зал был полон, не было ни одного свободного места. Сотни глаз, не отрываясь, следили за каждым движением великого Язона. Он был в одной шелковой тунике, шелк был алого цвета — чтобы на нем не видно было пятен крови.

На мраморном столе перед Язоном лежала женщина, обнаженная до пояса. Ее круглые груди, белые, с голубыми жилками, едва заметно поднимались и опускались, она, по-видимому, спала. Язон нагнулся к ней, в его руке блеснул нож. Лица зрителей в первом ряду побледнели. Язон ободряюще улыбнулся им чуть подведенными глазами. Потом, взявшись за розовый сосок, он оттянул кожу на груди женщины, сделал ножом незаметное движение — и из разреза брызнула кровь. Женщина не пошевелилась, она продолжала спать.

Это было действие чудесного снадобья, изобретенного Язоном. Его публичные операции были теперь в Риме самым модным зрелищем, светские дамы обожали Язона, конкуренты ненавидели его. Это они вскочили сейчас в разных местах зала, размахивая кулаками и крича, что это — убийство, что женщина — римская гражданка, Язон не имеет права, они не позволят! Улыбаясь толстыми, красными губами, Язон поднял руку. Зал затих. «Предположим на время, что мои дорогие коллеги правы», — сказал Язон. Он оставил женщину, пошел в другой конец эстрады и отдернул занавеску. Все увидели человека, неподвижно сидевшего там в кресле. «Этот человек — мой, — сказал Язон. — Это раб, я купил его, он мой, целиком, весь. Но я возьму у него только одну ногу — и затем отпущу его, он получит свободу. Надеюсь, что теперь никаких возражений я не услышу?» Захваченные врасплох конкуренты Язона молчали.

Он нагнулся к рабу. «Камель!» — громко позвал он его. Раб сидел все так же, он спал, свесив коротко остриженную черную голову. Над левым ухом было видно на черном похожее на серебряную монету пятно седых волос.

Приск сразу вспомнил: красный помост, ветер, завернувшийся край консульского плаща, рука консула поднята для удара... Это был тот самый раб, который схватил консула за руку.

Приск стоял у входа в зал, в густой толпе запоздавших. На операцию Язона он попал случайно. Сегодня был его последний день в Риме, у него уже было куплено место на корабле, вечером отплывавшем из Остии в Константинополь. Багаж был уложен, у него еще осталось несколько свободных часов, и он зашел в Троянову библиотеку. Он не мог пробраться в читальный зал, его подхватила шуршащая шелком и шепотом, возбужденная, жарко дышащая толпа: модные проститутки и светские женщины, лысые юноши и молодящиеся старички, пахнущий конюшной цирковой атлет и надушенный женскими духами епископ. Приск решил в последний раз окунуться в этот Рим, чтобы увезти его с собой для своей книги, как Ной увез в своем ковчеге образцы всяких тварей. Стиснутый со всех сторон, он стоял у дверей и, близоруко щурясь, торопливо укладывал в себя лица.

В зале была сейчас душная, напряженная тишина. Было слышно только громкое, хриплое дыхание, это было дыхание Рима, почувствовавшего запах крови. Раб лежал на столе, его круглая, сильная нога выше колена была красной, и на белом мраморе под ней все шире расплывалось красное пятно. О мрамор резко звякнул брошенный Язоном нож, он взял пилу, осматривая ее, нарочно помедлил: так искусный актер делает тонко рассчитанную паузу, чтобы у зрителей захватило дыхание. Пауза кончилась — и весь зал услышал жестко скрежещущий звук пилы, врезающейся в живую человеческую кость. Побледневшие женщины дышали сквозь зубы, стиснутые как от боли или от нестерпимого наслаждения, они прижимались к мужчинам, стонали.

Приск стоял красный, ему хотелось кричать, бить, кинуться вон отсюда, но он уже не мог уйти, он, замирая, ждал этой последней секунды, когда круглая, живая нога отделится от человека, он ничего не видел сейчас, кроме двигавшейся взад и вперед пилы.

Внезапно он почувствовал острую боль в правой руке. Не отрывая глаз от пилы, он отдернул руку, боль прекратилась. Но через мгновение она стала еще острее. Тогда Приск, не понимая, в чем дело, посмотрел вниз.

Рядом с ним стояла Плацидия. Ее влажный красный рот был открыт, блестели острые зубы, ногтями она впилась в руку Приска. Она смотрела на него, ее зеленые глаза были такие же, как в ту ночь в гостинице. «Бежать... сейчас же...» — Приск сделал движение, но Плацидия сделала его руке еще больнее и заставила его нагнуться. Он почувствовал на своем ухе ее горячее, быстрое дыхание. «Сегодня, когда стемнеет... у входа в ту гостиницу — ты ее помнишь?» — «Да», — сказал Приск. Он тотчас же понял, что надо сказать другое. «Я уезжаю сегодня, я не могу, не хочу!» — хотел он закричать, но Плацидии около него уже не было: ее увидели, толпа раздалась в стороны. Она уже входила в зал между склонявшимися перед ней рядами. Приск бросился за ней, расталкивая уже снова сомкнувшуюся толпу. Он толкнул какую-то женщину, ее спутник, атлет с бычачьими глазами, схватил Приска за руку и требовал объяснений. На них оглядывались. Приск, красный, бормотал какие-то извинения, путаясь в словах. «Иностранец?» — спросил атлет, выпятив нижнюю губу и как будто именно ею глядя на Приска. «Да, иностранец», — сказал Приск, краснея еще больше. Атлет выпустил руку Приска и повернулся к нему спиной. Теперь Приск мог уйти.

Снаружи был ветер, он поднимал пыльные вихри, они, кружась, росли, поднимались головою до неба. Похожие на огромных серых странников, они, покачиваясь, бежали по дороге вон из Рима, Приск смотрел на них. Он сидел в каком-то парке, перед глазами у него, мешая смотреть, качалась круглая, белая от цветов ветка, от нее сладко и как будто знакомо пахло. По дороге с грохотом проехала большая открытая каруцца, в ней сидел человек, обложенный сундуками и свертками. «Через несколько часов и я ехал бы вот так же», — подумал Приск. «Почему ехал бы?» — чуть не закричал он вслух и с отчаянием, с ужасом понял, что все в нем уже бесповоротно решено, что он никуда не поедет, он пойдет к Плацидии...

Внизу у дороги была таверна. Ветром оттуда донесло запах пережженного оливкового масла. Приск вскочил: он вспомнил, что его ждет у себя Басс, они накануне условились пообедать вместе на прощанье... Как, какими словами сказать теперь, что он не поедет? Эта встреча с Бассом показалась Приску стыднее и мучительнее всего, но он все-таки пошел к нему.

Басс сидел со своей обезьянкой Пикусом на коленях. Пикус черными, тоненькими человеческими пальцами выбирал ядра из расколотых орехов и быстро совал их себе за щеку. Когда вошел Приск, он остановился и внимательными, умными глазами посмотрел на него и так же посмотрел на него Басс. «Что случилось?» — спросил Басс, ссадив Пикуса на пол. «Почему ты думаешь, что что-то случилось?» — «Почему? Посмотри на себя в зеркало, оно сзади тебя». Но Приск не обернулся, ему было стыдно увидеть свое лицо. «Я остаюсь, я никуда не поеду из Рима...» — и, захлебываясь, мучаясь, торопясь, он рассказал обо всем происшедшему на лекции Язона.

Он кончил и сидел, боясь поднять глаза на Басса. «Превосходно!» — закричал Басс. Приск, ничего не понимая, посмотрел на него круглыми глазами. «Очень эффектная по неожиданности развязка!» — и, перебирая другие возможные комбинации, Басс с увлечением стал доказывать, что судьба, как искусный драматург, выбрала наилучшую. «Впрочем...» — он остановился, задумался. «Что же ты? Продолжай! — горько сказал Приск. — Я для тебя — как тот раб, которого сегодня резал Язон». — «Да, да...» — рассеянно согласился Басс, явно думая о чем-то своем. Он смотрел на водяные часы, там тоненькой голубой струйкой текло время, неотвратимое, как судьба. Басс извинился, что не может обедать с Приском: у него есть одно срочное дело, ему нужно сейчас же идти. На улице он обнял Приска: «Не сердись на меня. Обещаешь?» Приск пожал плечами. Дойдя до угла, он оглянулся и увидел, что Басс тоже смотрит на него.

В первой же попавшейся таверне он спросил вина. «Нет, есть я не хочу», — сказал он девушке. За соседним столом галдело несколько бородатых евреев, в углу подвыпившие матросы громко передразнивали их. Занавеска на окне хлопала как парус. На мгновение Приск ясно увидел качающийся на волнах корабль. «Еще вина мне, — сказал он девушке. — И похолоднее». Девушка принесла. По холодному, отпотевшему стеклу бутылки ползли вниз медленные капли. Приск вспомнил лицо того, неожиданного, только раз мелькнувшего Басса. «Если бы он был таким сегодня, может быть, я...» Но думать Приск не успел: наливая вино, девушка коснулась его плеча



острием груди. Тотчас же Плацидия, будто дремавшая в нем где-то на дне, всплыла наверх, он ясно увидел ее: она лежала в носилках, слегка поскрипывали ремни в такт шагам...

Ему показалось, что за окном уже темнеет, что он опоздал. Лоб у него от страха стал мокрым. Он торопливо расплатился и выскочил на улицу. Солнце садилось, измученное сухим ветром небо было бледно. Обливаясь потом, Приск все ускорял шаги, потом не выдержал и побежал бегом.

Гостиница, где Плацидия назначила ему встречу, была недалеко. Когда Приск добежал туда, было еще светло, но под навесом над дверью в гостиницу уже был зажжен фонарь, он, скрипя, качался от ветра. Недалеко от двери стояли два солдата, они пересмеивались с проходившими мимо женщинами. Приск, задыхаясь от бега, сел на скамью у церкви наискосок, отсюда вход в гостиницу был хорошо виден.

На опустошенном ветром небе легли длинные красные полосы, как от ударов кнутом. Потом они исчезли. Возле гостиницы остановились носилки, Приск бросился к ним. Оттуда вышел толстый человек и, пыхтя, стал подниматься по ступеням. Приск с ненавистью смотрел на розовые, свиные складки у него на затылке.

Вдруг сзади кто-то тронул Приска за руку. С неистово забившимся сердцем он обернулся, но увидел только тех же самых двух солдат. Они осмотрели его с ног до головы, переглянулись. У одного в верхнем ряду не хватало двух или трех зубов, он сказал, выговаривая «с» вместо «т»: «Сы Сарквиний Приск, грек из Константинополя?» — «Да, я». — «Тогда возьми это и прочти». — «От нее... не придет...» — подумал Приск. Он начал читать под фонарем, фонарь от ветра качался, буквы прыгали. Он прочитал и не поверил, начал читать снова...

Это был приказ от римского префекта о немедленной высылке Тарквиния Приска на основании недавнего декрета об иностранцах. Щербатый солдат сказал, что им велено сейчас же ехать с ним в Остию и там посадить его на корабль. «Но я не могу сейчас, я не могу — поймите!» — в отчаянии сказал Приск, хватая солдата за руку и стараясь заглянуть ему в глаза, будто от этой встречи глаз все сразу же могло измениться. «Сюда, сюда!» — закричал кому-то солдат. Приск увидел: из-за угла гостиницы вышло еще двое, ведя лошадей. Он понял, что спорить бесполезно, что все решено, все кончено. Солдаты посадили его на лошадь, он поехал.

В Остии пришлось прождать целую ночь. Была буря, на набережную выпрыгивали из воды черные, в белой пене, звери. К рассвету буря утихла, и корабль отвалил, увозя с собой Приска. Он, близоруко щурясь, смотрел на белый остийский маяк и с горечью спрашивал себя: зачем Плацидии понадобилось унижить его этой комедией высылки? Маяк становился все меньше, он как будто опускался в воду, и наконец море совсем поглотило его.

Через несколько месяцев, уже в Константинополе, Приск получил подарок из Рима: водяные часы в форме двух соединившихся змей. К подарку было приложено письмо от Басса, он писал, что «не мог устоять против соблазна дать еще один вариант неожиданной развязки» и потому устроил высылку Приска...

Эти часы всегда теперь стояли на столе перед Приском, и всякий раз, как он садился писать, он с нежностью и благодарностью вспоминал Басса. Сквозь стеклянные жала змей время текло чуть заметной голубой нитью, отсчитывая дни и годы. Снаружи, за стенами тихой комнаты Приска, время бушевало наводнением, потоком, события и люди мелькали, он еле успевал записывать. Он начал писать свою книгу, как историю Византии, но вышло так, что ему больше всего пришлось говорить о хунах. Его первая запись о них была следующая:

«Императорский переводчик Вигила, посланный к хунам для переговоров о торговле, вернулся с известием о смерти их царя Октара. Следует знать, что до Октара той страной владел брат его Мудьюг, который умер, оставив после себя двух сыновей. Но так как эти сыновья были еще малолетними, то вместо них правителем стал Октар. Имена этих сыновей Мудьюга: Атилла и Бледа. Утверждают, что имя одного из них — Атилла — происходит из слова, означающего на их языке „железо“... Я не знаю, справедливо ли это, ибо их язык мне неизвестен. Но в те годы, когда я был в Риме, этот Атилла был там как заложник от хунов. Мне суждено было видеть его и много слышать о нем, и все, что мне о нем известно, оправдывает его имя. Октар был склонен скорее к подвигам за пиршественным столом, нежели на поле битвы, и потому мы жили с хунами в мире. Но что будет, если теперь власть перейдет к Атилле и если это железо направится острием на Европу?

По моему разумению, сказанному Атилле сейчас менее 20 лет. Еще нельзя знать, станет ли царем он или его брат Бледа, или же, пока они не придут в возраст, областью их будет править один из их дядей. Как утверждает императорский переводчик Вигила, знающий их обычаи, там старейшины, собравшись, выбирают царя. С разных концов неизмеримой страны, от Рифейских, иначе — Уральских, гор до Дуная, они должны собраться теперь для погребения Октара и для избрания нового правителя. Имя его мы узнаем уже скоро, и я полагаю, что не ошибусь, если скажу, что тогда мы узнаем и ожидающую нас судьбу.

Ибо наши руки уже подобны потерявшим крепость рукам стариков, и нашу судьбу держат в своих руках другие народы».

1928–1935